

29 марта 1870 г. к швейцарскому консулу в Петербурге А. Глинцу по поводу "павлово-сатинского долга" и костромского имения Герцена, секвестрированного русским правительством. В своем письме Фогт ходатайствовал о том, чтобы консул потребовал у Сатина "точного отчета насчет долга наследникам Герцена с обязательством регулярно выплачивать проценты установленного размера" (ААН, 242–245). Протестуя в письмах к Г. Моно и к детям Герцена, против уменьшения предназначавшейся для него и Мери пенсии, Огарев продолжал свои демарши и перед наследниками Сатина.

⁴Упомянутые выше протесты Огарева, обращенные к Г. Моно, А.А. и Н.А. Герцен, напечатаны в кн. 1-й наст. тома.

⁵О смерти Сатина (10 мая / 28 апреля) Огарев известил 16 июня свою племянницу В.С. Плаутину (Звенья VII, 402).

⁶См. отрицательный отзыв Т.А. Астраковой о Н.Х. Кетчере в ее письме к Нат. Ал. от 2 мая 1883 г. (АО, 283).

⁷Т. Сетерленд получил тогда два предложения насчет работы. По-видимому, он колебался, какое из них принять. 24 августа В.М. Озеров посоветовал ему остановиться на первом варианте, т.е. взять место воспитателя в Киеве (см. "Лит. наследство", т. 62, с. 442). В декабре Огарев сообщил А.А. Герцену, что Генри доехал до места назначения и занял предложенную ему должность.

⁸В декабре 1864 г. умерли Леля-гёрл и Леля-бой. Особенно терзала Нат. Ал., как мы знаем, смерть девочки.

Т.А. АСТРАКОВОЙ, Т.П. ПАССЕК И Е.А. САТИНОЙ

Обзор Т.Ю. С о б о л ь

Потребность фиксировать на бумаге возникающие мысли и чувства и подвергать анализу свои поступки проявилась у Н.А. Тучковой-Огаревой очень рано. Ее сестра Елена поддерживала в ней эту склонность¹. Ранние дневниковые записи, сделанные еще в России, возникли из необходимости постоянного духовного общения с сестрой. То же можно сказать и о следующей серии документов – неотправленных письмах Натальи Алексеевны к сестре и связанных с ними записках *для себя*, которые были сделаны после ее приезда в Лондон (1856). Напечатанные отрывочно в томе четвертом "Русских пропилеев"², они позволяют представить себе ее внутренний мир, противоречивость и хаотичность которого она сама хорошо сознавала. "Я все делаю, хорошее и дурное, порывами, но разума нет в моих действиях, боже мой, как мне больно понимать себя так ясно..."³.

К уже опубликованным ранним записям примыкают следующие неизданные отрывки из дневников, написанные на отдельных листках и обращенные к сестре вскоре после переезда Натальи Алексеевны вместе с Огаревым из России в Лондон.

"Вот, наконец, наступило совершенное смирение, я уж не ишу оправданий, я смотрю и вижу с ужасом, – записывает она, по-видимому, в 1857 г., – как мало я понимала жизнь, как часто увлеклась, как требовала, желала невозможного, – теперь уж ничего не желаю и не жду – больно отзывается во мне причиненное мною страдание Огареву, как ненужно я мучила его, но, может, это к лучшему, зато я его люблю чище, с большей верой, а как сердце ноет – в нем слышна та боль, которая бывает на другой день после похорон близкого существа, и пусто, и тихо, и чего-то недостает, и все желанья идут мимо, ни на чем не останавливается душа и нечего желать; спать, отдохнуть, очиститься хочется, но сил, сил мало. Я исполню долг свой с любовью и преданностью, потом поеду непременно взглянуть на своих, на мою Елену, на ангела⁴, в присутствии которого душа моя очистилась; бедный ребенок, не знаю, что будет с тобою, но знаю только, что ты никогда не знала цены тому свету, который ты внесла в мою жизнь. Я жила тобой, несмотря на то, что не всегда была возле тебя, но я так тебя люблю, что даже расстояние, разлука бессильны. Я помню и понимаю нынче ребячий вопль твой, страшное предостережение в минуту моего отъезда. Да, если б я ничего не сумела сделать для детей, отъезд бы мой был ненужное, страшное преступление. Столько принести жертв и ничего не сделать, да неужели это возможно, неужели это сбудется (и) я снесу эту жизнь; разве моя натура в самом деле так груба, так жалка? Часто я перелистываю до последнего листа свою душу, в ней много наболтано дурного, хорошего мало, оно таятся по уголкам и лепится к дурному; какую надо любовь, чтоб отыскать его, да и от кого я вправе требовать эту любовь, да и за что? Ну что же я делаю такого, за что бы можно было меня так безумно любить?"

* * *

Вчера я безумно, несправедливо унижала жизнь, чтоб доказать ему⁵ и себе, что неудовлетворение мое справедливо. Я говорила жестко и горячо, оскорбительно грубо выражалась обо всем, сегодня все требования, неудовлетворения кажутся мне недостойными меня, жалки-

ми; я смотрю с презрением на все высказанное мною, но как это больно, никто не может понять, как страшно тяжело, как душно выносить собственный приговор, как убываешь в собственных глазах.

Я крепко надеюсь измениться, корень всех несчастий во мне – самолюбие и молодость, да, иногда она так буйно просыпалась во мне, так сильно стучалась, точно сам чёрт подталкивал, точно кто шептал мне на ухо: “Да отчего же тебе не быть еще счастливой, иногда хоть беззаботной, зачем нет ответа, зачем нет такой любви, зачем везде на дороге поблекнувшие цветы, ведь для тебя они не совсем отцвели, а если нет полного ответа, зачем ты любишь так до боли?”

Странно, разом со вчерашнего дня я как будто десятью годами состарилась, все кажется мне ничтожно, ненужно. Жалко, я от того перестаю чувствовать неудовлетворенье, что не понимаю, в чем может быть удовлетворенье, все жалко, все мало в жизни только может быть покой, долг, свиданье.

Я слишком эгоистически жила до сих пор, в ежедневной жизни я не приносила жертв, я не говорю об О(гареве), все жертвы, которые я приносила ему, выкупались его безумной любовью.

Теперь я буду работать, жизнь моя будет постоянная кроткая жертва, я буду стараться действительно, чтоб всем было хорошо, чего бы мне ни стоило, пусть выкуплю этим недостойные прошлые бури; да и будто это так трудно – в чем же состоят жертвы: в самолюбии, ревности, раздражительности, ведь это все мелко, и если я сама в тайнике души своей признала это за недостойную жизнь, как же не сладить, что же значит сила, что же такое внутренняя работа?

* * *

Прошло несколько дней, но ничего не сделано, изредка проявлялись порывы молодости, вызванные им, чаще возвращались самолюбивые и ревнивые мысли, все же я чужая, у меня нет семьи, точно на ухо кто шепчет, этой жизни, этого счастья мне недостаточно, лучше совсем от него отказаться, и потом мысль, что кому-то это больно, и все пойдет вверх дном. Да, надо отказаться от моих бредней, надо, в этом нет сомненья, ему больно, и при этой мысли сердце раздирается, он любит так мало, так поверхностно, что счастья не может дать его любовь, он увлекся сначала, говорил другим языком, вольно ж увлекаться, кто же тут виноват, кроме меня? Неси же крест за свои ошибки, сумей удалиться незаметно и жить особо, холодно, самобытно, одно утешенье – увидеть мою Тату, как этот ребенок выше всего в мире. Наконец Ог(арев) увидит все, поймет, и понемногу рана закроется. Когда же сердце перестанет биться, Елена моя, я не имею надежды увидеться с тобой, жизнь мне страшна, много в ней было хорошего, но я сама все испортила, теперь уже поздно, не поправишь, я понимаю все необходимости жизни, но нет, нет, наша жизнь меня не удовлетворяет, я внутренне переносу страшные мученья, какой вред, какое зло я сделала, и ничем не поправить сделанное, да и сил нет, а тяжело.

30 н(оября 1857 г.)

Если б кто мог взглянуть в мое сердце, я не знаю, что бы он сделал, отступил бы от ужаса или бы с любовью принялся залечивать его раны. Больше оправдания я не нахожу для себя, я жалкое, бессильное существо, пора стать на ноги и удалиться внутренне от всех – жизнь для меня невозвратно прошла – но я не покоряюсь, мне мучительны мои ошибки, обидно, обидно за все, что мечталось. Я вынесла страшное наказание, но я не жалею себя и от всей души повторяю: “Лишь бы оно послужило мне”.

Год безумных надежд и мучений, год одних мучений и страданий, где же пристать, когда же...

Может быть, один гроб меня спасет, мороз по коже при этой мысли и вместе с тем безумное желанье.

* * *

Надо исполнить, что было сказано, но после – свободы, после – к вам, если не тесно вам, проживем вместе, лишь бы я не сделалась чужой твоим детям, это будет еще тяжелый удар. Ну, друг мой, метель крутила, крутила меня, выбралась, вспомни, как Мих(айло) кричал радостно: “Выйхали на большую дорогу”. И я кричу тебе отсюда: “Выйхала на большую дорогу, так не мешай же, друг мой, не тревожь, не зови, не приезжай, дай струпьем свалиться, дай привести в порядок мои мысли, наладить, устроить жизнь детей, и тогда, я думаю, Г(ерцен) позволит мне повидаться с вами, мы вынесем эту разлуку бодро, мы не слезливые бабы, мы все те же две девочки, которые называли друг друга братом, – наша дружба не может ослабнуть, мы



Н.А. ТУЧКОВА-ОГАРЕВА С ДОЧЕРЬМИ ГЕРЦЕНА – ТАТОЙ И ОЛЬГОЙ

Фотография. Лондон, (1857). На обороте дарственная надпись Н.А. Тучковой-Огаревой Е.А. Сатиной: "Елене. Вот тебе мой подарок, моя Елена, пусть ты его примешь с такой же радостью, с какой он был сделан для тебя"

Институт русской литературы РАН, С.-Петербург

не отвыкнем друг от друга, теперь буду стараться окрепнуть, трудиться и не горевать, я сама связала свою жизнь"⁶.

В одном из вариантов "Исповеди" (1890-е годы) мною обнаружена следующая интересная запись:

«Вот мои дневники без изменений. Когда мы жили в Торкее, Герцен ездил в Лондон – в то время меняли квартиру⁷. Жюль при переезде нашел мои дневники, конечно, писанные по-русски. Он их принес Герцену – последний мне сказал: "Я виноват перед тобой, прочел твои дневники, я не воображал, что ты так страдала, – у меня сердце дрогнуло, читая их". Но тогда я уже не писала в них, я была поглощена детьми, счастьем в них, я могла вынести все обиды и оскорбления, наносимые Мальвидой и Ольгой»⁸.

Тучкова-Огарева рано начала записывать свои сны. Сохранилась запись, объясняющая эту привычку: "Корсаков говорил, что по снам (можно) узнать человека, – я решилась записывать) свои сны для тебя, моя Елена (...) Можешь читать в моей душе"⁹. В подаренной ей Герценом тетради¹⁰ находятся записи некоторых снов и разные фрагменты дневника. Только часть их вошла в "Русские пропилеи".

11 дек(абр) 1857

По принятому правилу я записываю все свои страшные сны, сегодня я была с *сестрой* Annette, мы проходили через какие-то странные здания, под ногами вода, а сверху набросаны жердочки; ее вел кто-то впереди, и вдруг я вижу, что он столкнул ее в воду, и вмиг она исчезла из глаз, ужасный крик вырвался из моей груди – я умоляла всех спасти ее, но я не бросилась, страх ли это был утонуть тоже или сознание моей беспомощности, не знаю; но как ее ни искали, ничего, *вода* опять стала опять спокойна.

* * *

Помни 10 декабря 1857¹¹

(Торки. Февраль–март 1858 г.)

Вот я душой смирилась, но страшная грусть грызет меня, и все же я страшно, безумно желаю умереть – в смерти только я вижу верную пристань. Многое разрушилось, надежда на собственные силы все еще слаба; не умею я делать счастливыми окружающих меня – тайне все-таки думаю больше о себе, ужасаюсь, что нет много опыта, а, может, сама я разрушила или нанесла удар той единственной симпатии, которая все-таки продолжает прикрывать меня своей тенью, да, я безумная? чего мне не доставало, чего страдала душа?

Что меня так влекло и что я действительно нашла? Трудно, тяжело говорить обо всем этом, знаю только, что лучше было бы для меня не приезжать сюда. Снег падает хлопьями, сад наш весь покрыт белым саваном, все мне стало как-то знакомее в этой обстановке, и еще сильнее мое сердце рванулось к вам, но все бесплодно, все бессильно. Я не могу оставить этих бедных детей¹², а между тем как плохо я исполняю добровольно возложенный (на себя) долг, не могу привыкнуть к мысли расстаться с О(гаревым) и точно так же не могу примириться с нашей разлукой; право, друг мой, иногда страдания мои не под силу, если б я была религиозна, я бы упала на колени и молила бы бога низослать на меня душевное смирение, кротость, терпимость – я бы сказала: “Да будет твоя святая воля”. Одно спасенье – *смерть* – призываю ее, а между тем, Елена моя, вот уже почти три месяца, как я себе не принадлежу, но я думаю, что нам обоим лучше будет в могиле – дети должны родиться только тогда, когда светло еще смотришь на жизнь и гордо, с полной верой вводишь новое существо в мир, который кажется исполненным для него безграничного счастья, но эти годы давно миновались для меня, мы рано попали в тяжелую схватку с жизнью (!), что же могло тут уцелеть? Но вот тебе мое завещание.

Если б ребенок¹³ пережил меня, друг мой, ты должна его взять, как только возможно будет перевезти его, – умоляю тебя, не изнежь его, приучай к воздуху и к холодной воде, не оберегай от болезней, а укрепи его так, чтоб он был в силах многое вынести; в нравственном отношении я желала бы, чтобы дети твои были бы его братья, а ты его мать; я думаю, лучше, чтоб и не знал, что он мой ребенок, ему после моей смерти нечего искать родных – но если, друг мой, ты сознательно поймешь, что не имеешь к нему материнского чувства, не натягивай этого чувства, отдай тогда ребенка куда бы то ни было, где его будут любить, – я бы сказала: отдай папаша, но я знаю, что папаша слишком избалует его и сделает его беспомощным на всю жизнь, а главное, что нужно, это развить самостоятельность и понимание всего хорошего, прямого, благородного – тогда он и один не сойдет с прямой дороги.

Когда он ушибется, не утешай его, а докажи ему в коротких словах, что маленькие неприятности ожидают нас на каждом шагу и что должно их выносить терпеливо, – когда ему захочется дать что-нибудь, не дари его в награду за хороший поступок или взамену подаренной вещи, пусть он научится понимать лишения и выносить их добровольно, по собственной охоте или по необходимости, вытекающей из жизни.

Пусть он будет добр не из ожидания награды или похвалы, а просто по влечению своему; ласкай его, потому что это высшее счастье для ребенка, но чтоб ласки не были наградой. Не скрывай от его глаз состояние его окружающих, а приучай его смотреть с отвращением на несправедливость – приучай его ценить возможность воспитания и никогда не представляй ему все это как легкую вещь или как долг с твоей стороны, пусть его думает и (если можно) трудится, чтоб подвинуть возможность уроков. Приучай его знать, что все, что он поймет, все, что приобретет, есть не только его личное достояние и средство пропитанья, а тоже достояние всего живого, всего человечества, пусть он десяти лет или ранее уже передаст терпеливо другим все, что знает, пусть он впоследствии оценит твое попечение о нем, но пусть знает, что пользоваться всем и не достичь ничего, это грабить другого, который бы, может, успел. Приучи его быть терпеливым, выносить все от обстоятельств, но очень мало от людей, пусть он ценит жизнь, понимает, что не имеет права играть ею и уничтожать ее из-за нетерпимости, из-за страданий, потому что (это) показывает нравственную трусость и безграничную любовь к себе, но приучи его ставить правду выше жизни и в серьезных случаях без расчета подвергаться всем опасностям из-за истины.

Да, друг мой, от души говорю тебе, лучше короткая, чистая жизнь, чем длинная, но исполненная осторожности и бережливости. Не знаю, какие будут времена в его молодость, но, судя по нынешнему, лучше быть со стороны погибающих, ведь что же делать, нельзя удовлетвориться животной жизнью. Теперь (все) ломается, рушится под ногами, общая жизнь представляет только возможность блестящего мученичества, частная жизнь исчезает – еще многие о ней говорят и пишут, а между тем, она ускользает от нас, не в нашей силе воскресить ее; она требует своего мученика, своего Иисуса – он не являлся – и с каждым днем ветхое здание брачной, семейной жизни все более и более склоняется, в частной жизни веры нет, а что любовь без веры?

Итак, друг мой, частной жизни нет, прикатим камень и положим его собственными руками на свежую могилу. Женщины, не привязанные к общей жизни, женщины с окованным языком, из вас многие придут поплакать на эту могилу – вы погибли, но не думайте, чтоб сердце мое было исполнено одним состраданием, нет, в нем столько же злобы и негодования – верьте мне, мы все заслужили – вперед гляжу – ничего для женщин, назад – только несколько разбросанных фигур, то гениальных, то преданных, но ни одно существо живое не подумало о преобразовании женщины, и часто я задумываюсь над этим, но, может, все это нормально, может, выше мы и хватить не можем, отчего же это неудовлетворенье, это стремление к новой жизни, это ожидание, эта тяжесть? зачем же мы понимаем возможность деятельности, знания, светлого счастья – зачем эти мученья?

(Лондон. Конец 1857 – начало 1858 г.?)

Ты не приедешь, моя Елена, я это чувствую, и то всего страшнее, что я не знаю, чего желать. Иногда мне так хочется быть с тобой, обнять детей – хоть на минуту все забыть, отдохнуть, и вдруг так страшно и больно, что не хочется, чтобы ты приехала, нет, нет, ты не должна меня более видеть, Тата моя, Тата, и с тобой надо издали проститься; я все хочу собраться с силами и рассказать тебе, моя Елена, эти два последних года моей жизни, но сил нет, тяжело, больно, душно...¹⁴

1860. 23 сент(ября)

Еще страшный сон – мы едва расстались, Елена моя¹⁵, – я мучилась, что писем нет, – как вдруг вижу во сне, что Саша без болезни склонился. Ты велела его вынести – я с ужасом смотрела на все это. Вдруг Леля входит, озабоченный, ищет платочек навязать Саше на шею – он не сказал ничего больше, но я поняла, и такие дикие рыдания вырвались из груди моей, что ты подошла и сказала мне: “N(atalie), ты испугаешь детей”, – и я проснулась.

Боже мой! как легко быть доброй дома, окруженной со всех сторон любовью, вниманием, снисхождением, которое в близких вовсе не оскорбительно и к которому так сладко и так преступно привыкать, – когда грусть нападет, никто не оскорбляется, каждый видит и по-своему, лаской, тихой речью, всем на свете развлекает, разгоняет с любовью черные тучи, и они рассеиваются, и опять солнце покажется, и все забыто, и упреков нет, но, с другой стороны, я знаю, что это приучает жить спустя рукава, не думать о других, приучает к нравственному бессилию, я это узнала по опыту – часто мне (бывало) грустно, или я видела во сне кого-нибудь из вас, и мне захотелось быть с вами, непременно, сейчас; или ветер так уныло дул, что я вспомнила всех близких мне, давно оставивших нас, они ожили в моих глазах, я как будто вижу их, они все в беспорядке проходят мимо меня, тогда мне трудно удержаться, и лицо мое выдает тайные муки: вот слышу дедушкин умоляющий голос (...) И, наконец, и ты, N(atalie) идешь, я всегда вижу тебя с малюткой на руках, тебя, которую я так страстно любила, которая так много унесла в могилу из моей жизни, из моего сердца, зачем после твоих страданий мне не было дано хоть на минуту прижать твою усталую голову к своей груди и сказать тебе: все будет исполнено, все, чего бы мне ни стоило. Ты смотришь на меня с надеждой и с сомнением, я понимаю, что ты хочешь сказать: “Дети!” Ну да, они будут счастливы, насколько это зависит от меня».

ИЗ ДНЕВНИКА:

(Роттердам.) 15 сентября 1869 г.^{7*}

Сегодня, 15 сентября, видела Лелю во сне, как живую^{70*}, и так была уверена, что мы вместе, что страшно было потом, – я играла и бегала с ней около стола – она меня догоняла и па-

^{70*} Более поздние записи снов сохранились на отдельных листах. – Ред.

дала, я смеялась, чтоб она не расплакалась, – усадила ее на колени, целовала ее ручки, ножки, шейку. “Тебе нипочём падать, помнишь, как ты упала, ты маленькая была тогда”, – она обвиняла мою шею и целовала так, как она одна умела целовать. Зачем эта нечеловеческая разлука? мы должны были умереть вместе.

(Париж.) 20 окт(ября) 1869

Три дня почти сряду видела детей – что это за счастье и за мука.

Первый раз вижу, что держу на руках Лелю-боя, совершенно холодного. Я уж все знаю, но рада, что могу не расставаться. Кругом бегают дети, шумят – одна нянюшка подошла ко мне и говорит: “Что у него подвязано, ему делали операцию?” – “Нет – это уж после”, – говорю я и оглядываю его – из раны страшный запах – я с ужасом взглянула вокруг: “Я еще убью кого-нибудь”, – подумала и бросилась с ним на руках бежать по лестницам – я рыдала – страшно – зимой несла Лелю.

Во второй раз я видела ее одну, она вся в жару целовала меня, жаловалась на шум и говорила: “Все вру малину”, – хотела сказать, что бредит о малине. Наконец, сегодня видела опять ее (20 октября), она играла со мной, целовала, обнимала меня, танцевала около меня, я ей что-то напевала, и видела я красную полосу на ее шее – и что-то вспоминала и догадывалась. “Как я тебя люблю, Леля моя – я никого так не люблю”, – говорила я и целовала шейку ее – и тотчас проснулась, рыдая.

21 окт(ября) 1869

Сегодня опять была с Лелей – говорят, она спит, проснулась – зовет – бегу к ней – ее несут на руках в сад, Мини ее держит, возле нее хлопочет Фекла Егоровна – я подошла, беру ее, целую, платье натерло ей кругом красную полосу – я показываю, целую натертое место – обшивка грязна, и спарываю ее. Фекла Егоровна все тут, возле меня – она, должно быть, ходит за ней, я держу Лелю на руках, целую, обнимаю ее и говорю: “Ты никогда не уйдешь от меня”? – “Нет, нет, – отвечает она и ласкает меня, – не уйду – тогда у меня что-то болело – теперь не болит”. Я все целую и все спрашиваю – чего-то боюсь, что-то слишком хорошо на душе, так страшно.

23 окт(ября) 1869

Опять видела обоих – они были еще очень малы – на руках у няньки – я зову – ни один нейдет. Наконец, Леля говорит по-англицки: “Я так больна, но если я не пойду к тебе, ты будешь плакать”, – и она протянула мне ручонки – я взяла ее, и радость и страх так сжали меня, мое сердце – эти свиданья, такие мимолетные, такие неопределенные – все мое достоинство теперь – никто и ничто не может заменить их, и я с ужасом все больше понимаю, как долго мне ждать той минуты, когда я не буду больше знать, что было, – забыть, не думать я не хочу – пока жива, я хочу помнить, как могу живее.

МОЯ ТЕТРАДЬ

17 N(оября) 1871

Хочется иногда записывать сны, как будто хочется продлить, остановить мимолетные минуты счастья. Почти все дорогое, самое дорогое в могиле, а я живу – то, что осталось, дорого, бесконечно дорого, но иначе дорого – за него боишься, его желаешь видеть лучшим, заботишься, но оно уже не дает счастья, оно не может дать, счастье, радости в могилах – а труп мой между живыми – и никто этого не видит, никто из окружающих не ужасается мертвецу, все привыкают к моему отсутствующему присутствию, мне одной страшно по временам, и я плачу, когда одна я, может, лучше, что никто не видит и не понимает моей боли, – может, ее понять нельзя, она не так выражается, как их боль, а может, если б они поняли, они стали бы утешать меня, заботиться – меня нельзя утешить; я развлекаюсь порой работой – я сама ищу выхода, когда мне слишком тяжело.

17 июля, т.е. 29 июля 1871 года

Елена скончалась¹⁶ – у меня нет друга, несмотря на ее отсутствие, какое-то безумие поддерживало мои надежды; в продолжение многих годов, страдая, ошибаясь во взгляде на людей и видя, что окружающие ошибаются во мне, я годы повторяла себе: когда-нибудь я буду с ней, я все буду исповедовать перед ней, пусть она скажет, пусть она судит, но что б она ни думала, ни поняла бы, любовь ее неизменна. О, если б у меня было столько веры в других, я менее бы страдала. Но этого не могло быть, она одна умела так любить. Передо мной лежат исписанные тетради с 1858 году¹⁷, для нее, местами на них видны слезы – теперь никто не будет их читать, не прикоснется до них – кому дело до них, до моих страданий. Но, может, этот ропот напрасен, может, лучше, что она уснула, не положивши пальцы в раны, ей было бы так больно.

(22 ноября) 1871

Сегодня, 22 Н(оября), в канун рожденья моих двух Лелей, я видела их во сне – семь лет разлуки – завтра им было бы десять лет! Я видела их сначала спящими – они беспрестанно просыпались, я брала на руки то одного, то другого – потом мы куда-то пошли, я хотела накормить их в ресторане, я часто несла Лелю на руках, она обнимала и целовала меня – я была так безумно счастлива – слова бедны, чтоб выразить, как я была счастлива; обвивая руками мою шею, она заглядывала мне в лицо и спрашивала: “Тебе хорошо, мама?” – я только улыбалась и целовала ее щечки, ее ручонки. “Только не надо, чтобы смерть нас разлучала”, – вырвалось у меня с какой-то болью, с каким-то страхом, и все исчезло – я опять та, вечно несчастная, наказанная, оставленная, но и за эти минуты сколько благодарности случую.

(1870-е годы)

Я видела Г(ерцена) во сне – и как живо! Я совсем потеряла на эту минуту сознание нашего одиночества с Лизой. Он возвращался из какого-то путешествия и был так светел, так дышал радостью, что я опять почувствовала внутри то чувство гордости, которое иногда мелькало у меня в сердце, смешанное с чувством любви, когда я видела иногда, как бесконечно он меня любил. Он торопливо вошел в свою комнату, выслал Лизу и Тату и остановился передо мной, как бывало, взглянул так светло: “Ну, что, скоро я приехал?” Потом все смутилось. На другой день я опять его видела – он спал, я стояла над ним и смотрела на него. Лиза спала в другой комнате. “Что ты смотришь, не веришь, что это я?” – “Я два раза тебя теряла, ты умираю, я тебя видела в гробу – я боюсь”, – и я жалась к нему. Он был так бесконечно весел и рад, что дома.

Декабрь и январь. 1871. 1872

Я часто видела детей во сне, но не вместе, как бывало, а то одного, то другого; всего памятнее мне ручонки Лели около моей шеи, ее бесконечные ласки и мой страх чего-то. Нет, я не могу и пробовать передать, что я ощущаю в эти дни, – днем я с живыми, ночью с самыми дорогими. Как часто неподдельный ужас перед необходимостью опять надевать дневные цепи – зачем мы не погибли с Лизой тогда же? Не только моя, но и ее жизнь едва ли поправится.

9 янв(аря) – 27 янв(аря) 1872

Опять видела страшный, счастливый сон, исполненный надежд. Видела так ясно письмо, писанное им, в котором он говорит, что попал в Америку, что это было нужно, чтоб его ждали, – сердце забилося – не верилось, но ведь почерк его – и надежда опять закралась в сердце, я позвала Тату: “Смотри, ведь это его рука. О, я знала, он не умер, я ждала его”.

(1872 г.?)

Видела опять его. Он ждал меня внизу. Леля промокла на дожде, я меняла ее платье – потом завернула ее в большой белый шерстяной платок и побежала с ней вниз, он будет так рад видеть ее.

Видела Гер(цена) несколько раз во сне, но мимолетно, иногда не могу вспомнить подробности.

Ночь на 3 дек(абря) 1872

Давно не видела детей – но сегодня видела обоих. Леля-бой вел меня к Леле, он упал на лестнице, он упал и ушиб голову, я ужасно испугалась и вместе боялась не отыскать Лелю, наконец мы ее нашли на руках незнак(ом)ой женщины, которая дразнила ее шутя – Леля хмурилась, я протянула к ней руки: “Пойди к маме”. Она смотрела на меня: “Разве ты не любишь маму?” – “Зачем тебя любить?” – Она пошла ко мне. – “Обними меня крепче, держи меня за шею”, – говорила я, боясь чего-то. Как было хорошо на душе. Завтра восемь лет, что у меня нет моей Лели, что она лежит в гробе.

17 июня 1874

Видела Елену – она ужасно страдала и умирала, окруженная детьми, – что это за боль! Когда я буду, как они? Я Лизе не нужна – у меня более нет терпения. У меня нет друзей – ни одного человека – отец и мать стары, они одни на всей земле меня любят – а это обвинение – зачем меня не любят? Я бы это вынесла, хотя и тяжело порой, но мне хотелось бы близкого друга, чтоб Лизу передать, она без меня оживет, ей нечего жалеть меня, я искренно слишком много страдаю воспоминаниями, забыть не хочу, не могу. Оплакивать умерших тоже натянуто – иным жизнь слишком трудна.

29 сент(ября) 1874

Видела обоих детей во сне – но смутно, я вся дрожала. “Я бы стала молиться, – говорила я, – если б я могла удержать их, сделать их здоровыми”, – много горя было в эту ночь и много радости.

25 фев(раля) 1875

В ночь на 26 ф(евраля) видела Лелю во сне – она мне говорила по-англиц(ки): “Мама, целуй меня”. И я целовала ее глазки, лоб – радовалась и вместе страшный страх щемил сердце – рассказать это невозможно»¹⁸.

Кроме этих отдельных разрозненных листков, в РГАЛИ хранится толстая тетрадь в зеленом кожаном переплете, которую Тучкова-Огарева назвала “Книга страданий, где все наруже, все на воле”, датируя ее: “С 1855 г. до 189...” (в “Русских прописях”. М.О. Гершензон называет ее “Зеленая книга”). Она заполнялась беспорядочно, в разное время. В ней есть и дневниковые записи, и записи снов, и воспоминания о детстве, и подробности об аресте А.А. Тучкова в 1850 г., здесь же статья 1891 г. “Цели жизни”, “Моя исповедь” и наброски главы “Возвращение в Россию”¹⁹. Некоторые записи до сих пор не изданы.

Интересны воспоминания о детстве и юности, написанные в Лондоне в 1856–1857 гг. Тучкова-Огарева очень тяжело переживала разлуку с родиной и от превратностей своего лондонского существования уходила в воспоминания о детстве, но окружающая жизнь неизменно врывается в ее записки. Начинаются они с обращения к сестре:

“Вот тебе обещанное, моя Елена, пишу для тебя, потому что хочется говорить с тобой, хочется обмануть себя, думать, что ты тут, что твоя рука в моей и что мы, лежа на кровати, вспоминаем минувшее детство и еще так недавно минувшую молодость. Да была ли она? Как она мелькнула перед нашими удивленными глазами, какими блестящими красками она нам казалась разрисована, как она манила, как мы к ней бежали с открытой душой, чего мы от нее ждали, чего требовали? Теперь мы уже перешагнули на другой берег – я осязаю старость, знаешь ли ты эту жажду оборачиваться с бесконечной любовью к детству, с умилением повторять в себе каждое слово; каждое чувство, тогда глубоко потрясавшее детскую, еще нежную натуру, теперь что ее потрясет? минутами вспыхивает негодование перед невообразимыми преступлениями, но ведь внутренняя оболочка стала груба, ведь все так же сядешь за стол и пообедаешь”²⁰.

С нежностью вспоминая свою покойную старшую сестру Аннету, Тучкова-Огарева продолжает размышлять о проблемах, которые неизменно стоят перед нею:

“...И вот ее желанье, наконец, исполнилось, но не в юности, с чистой и полной веры душой отдалась я детям, после бурь и утрат, я пришла к ним *по ее* (Н.А. Герцен-матери) *словам заменить им мать*. Какое это великое слово, и как страшно произносить его, – я бы хотела снова пережить свою жизнь и явиться к ним более достойною такого святого назначения...

Ну, если б им лучше без меня? Зачем эти сомнения? Я думаю, потому, что есть сознание собственных страшных недостатков. А ведь мне кажется иногда, что я должна была походить на Annette, но вышло совсем не то. Ведь светлое, спокойное выражение, которое так редко освещает лицо мое, ведь это что-то ее, сходящее на меня в редкие хорошие минуты. Еще ребенком я мечтала быть похожей на нее, но жизнь, тяжелые столкновения с людьми и какое-то проклятие толкнули меня на другую дорогу, но я и теперь еще надеюсь победить. Тяжело жить, моя Елена, невольно много невозможного требуешь от жизни и вместе с тем чувствуешь, что ни на что не имеешь никакого права, и умирать и жить не хочется”²¹.

Приведу в заключение еще одну дневниковую запись (без даты):

«Вчера Герцен перечитывал “Детство” Толстого²² – лучше, ближе, роднее ничего нет для меня. Невольно думалось: неужели я та же, та же, что тогда? Много выстрадала я вчера, холодная тихая слеза скатилась. Герцен сидел возле и все видел»²³.

Текстологический анализ записок о детстве из “Книги страданий” и воспоминаний, посвященных юности Тучковой-Огаревой и жизни Огарева в Яхонтове в 1846 г. (в составе книги Пассек и в ее собственных мемуарах), позволяет заключить, что воспоминания 1880–1890-х годов написаны на основе этих ранних записок. Причем, в основном дословно переписывался ранний текст (есть интересные разночтения, которые будут приведены ниже). Это находит подтверждение в переписке с Т.П. Пассек.

* * *

В 1882 г., узнав у Т.А. Астраковой о возвращении Тучковой-Огаревой в Россию, Т.П. Пассек решила привлечь ее к работе над своими записками “Из дальних лет”, два тома которых уже вышли из печати²⁴. Тяжелая болезнь помешала осуществлению этого замысла, и только через два года, 2 июля 1885 г., Пассек обратилась к Тучковой-Огаревой, давней знако-

мой, с просьбой пополнить своими воспоминаниями ее мемуары²⁵. К этому Наталья Алексеевна отнеслась довольно скептически и предложила прислать взамен “старые письма”, неопубликованные стихотворения и ноты Огарева²⁶.

29 августа она писала Пассек:

“Посылаю только ноты Ага, хорошо бы их напечатать, чтобы дать понятие об разнообразии стремлений его богатой натуры (...) Стихотворения его и несколько слов о кончине Алекс(андра) не могла еще найти”²⁷.

Таким образом, у Тучковой-Огаревой уже имелись воспоминания о последних днях Герцена, написанные, по-видимому, в начале 1870-х годов. Пассек получила их в октябре 1885 г. В РГАЛИ сохранился последний лист письма Тучковой-Огаревой от октября этого года (с. 9 авторской пагинации), который представляет собой конец главы о смерти Герцена, включенной Пассек в текст воспоминаний для “Русской старины”. Гранки этой главы²⁸ – несколько смягченный и измененный вариант текста, присланного Тучковой-Огаревой²⁹ (конец же главы в черновой рукописи Пассек дословно совпадает с концом этого письма).

В 1870-е годы у Тучковой-Огаревой хранилась также рукопись ее воспоминаний, позднее уничтоженная ею³⁰, о чем она сообщила Пассек, которая отвечала ей 5 сентября 1885 г.: “Вы говорите, что писали былое и сожгли; конечно, была, верно, минута слишком уж жестока. Попробуйте опять писать пережитое. Это своего рода жизнь – все воскресает”³¹.

В октябре Тучкова-Огарева получает от Пассек два первых тома “Из дальних лет”. Читение этих мемуаров подтолкнуло ее приняться за работу, но прежде чем в нее погрузиться, она переписывает для Пассек письма Н.А. Герцен и Огарева. 29 ноября Пассек сообщает ей: “Все полученное от тебя привожу в порядок, соединяю с моим, скоро буду печатать”³². Что именно к этому времени она получила, кроме описания смерти Герцена, установить трудно. Посылая 14 декабря своей корреспондентке подробный план будущих воспоминаний, Пассек снова уговаривает ее писать: “За письма твои хорошие, теплые, спасибо. С сочувствием читаю их, и нередко слеза скатывается на твои строчки, точно вырываются из вечности лица милые, воскресают и обступают меня. Иногда мне кажется, что они велят нам говорить за них. В тебе они живы. Последняя половина их жизни была и твоей жизнью. Надобно бы говорить за них то, что они не успели высказать”³³.

Это письмо Пассек позволяет датировать ответное письмо Тучковой-Огаревой, опубликованное в “Архиве Огаревых”, второй половиной декабря 1885 г. (с. 283–284). В нем она впервые упомянула о своем намерении работать над мемуарами.

Об этом же Тучкова-Огарева пишет Астраковой 6 января 1886 г.:

“Т(атьяна) П(етровна) меня просила написать о знакомстве с Наташей – потом ее письма ко мне – я не могла расстаться с ними и все переписала, они без малого 40 лет со мной везде – и клетчатая голубая косыночка, подаренная ею в Париже³⁴, наденется, когда я лягу спать совсем”³⁵.

По-видимому, первой рукописью воспоминаний, которую прислала Тучкова-Огарева в начале января 1886 г., была глава “В Италии”. Сопровождавшее посылку письмо³⁶ очень интересно. Оно объясняет, почему письма к ней из Старого Акшена в Яхонтово в 1848 г. были написаны Огаревым по-французски³⁷. Переводила их для издания Пассек сама Тучкова-Огарева. Кроме того, в письме излагается ее план работы над воспоминаниями о жизни в Англии:

“Вот вам несколько слов о нашем знакомстве с N(atalie) (...) Мне грустно расставаться с этой работой; быть может, мы не меньше любили друг друга, чем A(лександр) любил O(гарева). Когда об этом факте³⁸ уже говорено, мне кажется, откровение лучше, – впрочем, делайте к лучшему. Надеюсь выслать вам все письма N(atalie) (...) Мне грустно расставаться с этой работой; быть может, мы не меньше любили друг друга, чем A(лександр) любил O(гарева).”

Я расскажу о нашем приезде, скажу даже о поводах к нашему сближению – о нашем заграничном положении, все вскользь – но как говорить о их деятельности? время не пришло, я думаю. Потом займусь письмами Ага ко мне – некоторые очень замечательные – к несчастью, многие по-франц(узски), а никто хуже меня не переводит, несмотря на то, что я знаю лучше по-франц(узски) – и потому-то O(гарев) и писал так”³⁹.

В конце января 1886 г. Тучкова-Огарева послала Пассек часть своих воспоминаний о детстве: “Теперь, дорогая Татьяна Петровна, письма O(гарева) все переписаны, а некоторые переведены – письма N(atalie) тоже все переписаны (у меня больше нет). Я вам послала записку о N(atalie) и начало моих воспоминаний, писанных вовесть частью, для моей сестры, – можно их оставить на вашу волю (...) Т(атьяна) A(лексеевна) так подействовала на меня, что (я) раздумала писать и прошу обратно записку о Наташе. Вы можете на выбор напечатать несколько писем N(atalie) – но надо все исключить о Георге (Гервеге) из моей записки”⁴⁰.

К концу февраля у Пассек уже были материалы к главам “Семейство Тучковых” и “Во Франции и в России”. 24 февраля она сообщила Тучковой-Огаревой: «В первом № “Русской старины” вышло мое последнее свидание в Женеве с Ага, письма Алек(сандра) из Швейцарии

(...)»⁴¹, теперь пойдет рассказ (очень хорош, по твоему письму сделала сама) о твоём редком отце, с любовью очерчен, и твоя юность и милый, добрый Ага с вами. Потом ваш приезд за границу, любовь к тебе Наташи и жизнь ваша в Италии и в Париже. С любовью к вам ко всем и просто написано»⁴².

В течение 1886 г. Тучкова-Огарева продолжает присылать Пассек новые письма в своем переводе. Главы “Александр Герцен за границей” и “Общий фонд”, очевидно, были начаты ею весной; 14 марта она заявила Пассек: “Лучше я буду для вас писать о лондонской жизни и пр., более общее, чем частное, а когда будет возможно, вы включите это в свои записки (...) В нашем кругу в Лондоне были замечательные личности, о которых Ал(ександр) мало писал, мне бы хотелось вас познакомить с некоторыми из них”⁴³.

В конце года Пассек сообщила своей корреспондентке о сдаче в набор третьей части записок⁴⁴, куда в сокращенном виде вошли главы “В Англии” и о смерти Герцена⁴⁵. Глава же “Общий фонд” была помещена только в отдельном издании записок Пассек.

В 1887 г. Пассек начала готовить отдельное издание третьего тома своей книги “Из дальних лет”. “Как скоро кончатся мои заметки у Михаила Ивановича (Семевского), я буду печатать все это отдельной книгой”⁴⁶. Она неоднократно обращается к Тучковой-Огаревой с просьбой исправить ошибки в уже опубликованных главах и письмах. Однако ни одно ее замечание Пассек к сведению не приняла. Тучкова-Огарева, со своей стороны, продолжает работать над мемуарами и в то же время разбирает не появившиеся в печати письма и стихотворения Огарева и Сатина.

27 марта Пассек писала Тучковой-Огаревой о получении более полного экземпляра главы “Болезнь и смерть Александра Ивановича Герцена”, по-видимому, написанной на основании раннего варианта: “С глубоким горем читала я твою записку о последних днях его жизни, сердце сжималось тоской, я точно видела его во все эти тяжелые минуты, видела всех вас”⁴⁷, — сообщает она Тучковой-Огаревой. А 1 февраля 1888 г. Пассек получает от нее рукопись с воспоминаниями о детстве и юности⁴⁸:

“Дорогая Татьяна Петровна!

С этой почтой посылаю портреты, две карточки в этом письме; если возможно, мы бы желали получить их обратно. Я не люблю памятника Герцену, ему сделали немецкую осанку, которой не было, но все же посылаю и его. Если можно, мне бы хотелось иметь стихотворения Надсона, он мне очень симпатичен. Посылаю вам о нашей молодости подробные из моих записок, писанных в Лондоне для сестры, но это только повиновение с моей стороны, а печатать не стоит. Что вы говорите о нашем путешествии, о возвращении, о 4 годах жизни в России с Огаревым, о 10 лет жизни в Лондоне, у меня ничего нет написанного и не ручаюсь, что могу успеть, хотя бы и очень желала сделать вам удобное. Я ведь думаю, что вы скоро начнете печатать.

Напишите, когда вы думаете начать печатать и которая из этих эпох вам желательнее бы? Я и начну и сделаю, что могу: дела дают мало спокойствия...”⁴⁹.

Единственными “записками”, которые могла послать в это время Тучкова-Огарева, являются ее воспоминания о детстве, записанные в “Книге страданий”⁵⁰. Следовательно, это письмо, как и приведенное выше (датированно концом января 1886 г.), подтверждает, что глава “Семейство Тучковых” была написана не в конце 1880-х годов, а в 1856–1857 гг., т.е. спустя десять лет после описываемых событий. Это повышает ее ценность как мемуарного источника.

Наталья Алексеевна переписала эти записки для Пассек, не предполагая, что они войдут в публикацию. Пассек часть их поместила дословно, остальное — сократив и переработав, и присоединила к тому тексту, который уже был опубликован в этой главе в “Русской старине”. Все, что не вошло в главу “Семейство Тучковых”, Тучкова-Огарева использовала в своих воспоминаниях.

При подготовке третьего тома у Пассек появляется новый замысел: шире представить период, относящийся к жизни Герцена в Лондоне, и в письмах 1888 г. она неоднократно просит Тучкову-Огареву пополнить свои воспоминания. Но в это время Наталья Алексеевна работает уже над собственной книгой мемуаров. К тому же она была не совсем довольна качеством публикации писем Герцена и трактовкой его деятельности. Вот что писала она по этому поводу Т.А. Астраковой 3 января: «Только что прочла все письма Герцена в “Русской старине”. Многое не понято в его письмах, то не разобрали руку, и потому бессмыслица. Про Огарева пишут, что он сломал ногу на охоте, хотя я писала Т(атьяне) П(етровне), что это неправда. Вообще в письмах Герцена что-то недоговорено. Мне кажется, или говорить, или промолчать; пропускали, что хотели»⁵¹. 23 марта она снова делится с Астраковой своими впечатлениями: «Теперь поговорим об изданиях Т(атьяны) П(етровны), она уже печатала письма Герцена и Н(аташи) ко мне в “Русской старине”, теперь обещает издать книгой, и будто



ГЕРЦЕН

Фотография Клоде. Лондон, (1852–1853)
Музей Герцена, Москва

скоро. Я ей кое-что посылала не раз, позволяя ей урезывать, как знает, но в последний раз, прочитавши в “Р(усской) ст(арине)” (в ноябрьской книжке), что она говорит о деятельности Г(ерцена), я возразила по чувству долга к ним обоим. Я дивлюсь, как смело Т(атьяна) П(етровна) могла писать, например, что Г(ерцен) принимал участие в польских делах. Это более чем неправда.

Потом я просила ее напечатать, что я говорю о печатанье писем Г(ерцена). По-моему, так пристрастно иное оставлено, иное выпущено, но, по-видимому, это не она, а Саша Г(ерцен) с Семевским, что лучше было бы вовсе их не печатать. Не знаю, напечатает ли она»⁵².

В 1887 г. Семевский предлагает Тучковой-Огаревой написать мемуары. К марту 1888 г. был готов очерк об И.С. Тургеневе, и Тучкова-Огарева работала над частью книги, в которой хотела рассказать о московских друзьях Герцена в 1848 г. Рукопись воспоминаний о С.И. Астракове она послала Астраковой с просьбой дать ей оценку. В этом же письме впервые упоминается о работе над мемуарами:

«Она (Т.П. Пассек) без моего позволения показывала издателю “Русской стар(ины)” мои письма; он пишет, что знает из моих писем к Т(атьяне) П(етровне), что я ищу работу и что он мне предлагает писать для “Р(усской) ст(арины)” мои воспоминанья (...) Я отвечала ему, что

действительно мне нужна работа, но я думаю, что мои записки малоинтересны будут для “Русской” ст(арины)”, а что могло бы быть интересно, то неудобно для печати – а разве некоторые отрывки, но все это не будет правильная работа, которой можно жить.

Я написала два отрывка: один о знакомстве с И.С. Тургеневым, другой о нашем возвращении в 48 г., о том, как я увидела кружок Г(ерцена) и О(гарева), наше знакомство с вами; я прошу вас прочесть, что я говорю о Сергее Ивановиче Астракове, – если это вам не нравится, то я и не пошлю это – оно совершенно зависит от вас⁵³.

Астракова поддержала Тучкову-Огареву в намерении писать воспоминания и предложила ей довольно подробный план их начала, но с неодобрением отнеслась к запискам об Астракове, найдя их очень неточными:

“Попробуйте послать свои записки ко мне, кажется лучше (интереснее) было бы начать их с вашего детства и пр., и пр., хорошо упомянуть и о родственных связях – это все может показаться интересным уже потому, что фамилия Тучковых известна во многих отношениях. Хорошо упомянуть и о службе отца и его честной деятельности (...)”

Но то, что вы написали о знакомстве с нами и наших обычаях, – вы все, простите! перепутали (...) О жизни С(ергея) И(вановича) нужно писать или все или ничего. Можно его похвалить как умного, хорошего и доброго человека, но и только. Вот мое мнение⁵⁴.

Тучкова-Огарева не поместила эти записки об Астракове, только небольшой отрывок вошел в состав пятой главы⁵⁵. Одновременно с работой над воспоминаниями Тучкова-Огарева начинает писать “Исповедь”, используя свои дневники и письма к сестре: “У меня давно для сестры кое-что написано, буду продолжать, если будет досуг. У меня другая цель: во-первых, я хочу показать женщинам, как ужасны последствия необдуманно(го) шага. Как далеко достают своих жертв”, – писала она Астраковой 23 марта 1888 г.⁵⁶ Тучковой-Огаревой нелегко было писать мемуары для журнала, поскольку приходилось приспосабливаться к требованиям редактора и цензуры⁵⁷ и не касаться сложностей своей личной жизни. Она часто пишет о своих сомнениях Астраковой: “Вообще не знаю, буду ли посылать записки свои Семевскому – в этом хочется быть свободной (...) Мои записки с самого начала вовсе не интересны для Семевского, вообще я понимаю, что ему хочется иметь рассказы из 20 лет, прожитых мною за границей. Вообще мои записки должны бы иметь совсем другой характер – скорей психический – и вовсе другую цель, которая относится к читательницам, а не к читателям, – но будут и общие факты, интересные для тех и для других, только я писать не умею, и свободного времени у меня нет (...) Если б были деньги или кредит для печати, как у Тат(ьяны) Петр(овны), можно бы просто печатать, но денег взять неоткуда”⁵⁸.

Об отдельном издании третьего тома “Из дальних лет” Наталья Алексеевна писала: “Жду (его) с нетерпением, потому что тогда могу лучше сообразить, что описывать для Семевского из моих воспоминаний, – мне бы не хотелось писать по наказу, так сказать, да уж слишком трудно без копейки жить”⁵⁹.

29 декабря 1890 г., когда в “Русской старине” уже появились первые главы ее воспоминаний⁶⁰, Тучкова-Огарева писала Астраковой: “Мои воспоминания, точно, теперь печатаются, но рукопись давно у Семевского (...) Семев(ский) пишет, что лондонскую часть Записок не пропускают, но все надеется⁶¹. Вы говорите, что я нашла дело по себе, и да и нет – потому что всего нельзя сказать, как хочется, потом дала себе слово обходить частную жизнь, что нелегко. А исповедь все-таки напишу...”⁶².

“Исповедь” была закончена в 1904 г., переписана и послана Е.С. Некрасовой. Тучкова-Огарева неоднократно пыталась написать правдивые воспоминания о детях Герцена⁶³, но это ей плохо удавалось: мешало предвзятое к ним отношение. Попытка обрисовать характер превращалась в отчеты о незначительных происшествиях, мелочи заслоняли главное. Очерк о Тате Герцен, в основном, состоял из жалоб на ее сестру Ольгу; в нем повторяются рассказы, часто встречающиеся в ее прежних записях.

Текст воспоминаний Тучковой-Огаревой, записанный в “Книге страданий”, живо передает атмосферу, царившую в имении Тучковых в 1846–1847 гг., когда там бывал Огарев. Часть текста редактировала и сокращала Пассек. Рукопись Натальи Алексеевны, может быть, и была несколько многословна, но в ней встречались эпизоды и подробности, которые, следовало бы сохранить. Рассмотрим отрывки, подвергавшиеся наибольшей правке. Вот описание спектакля, устроенного в день рождения Е.А. Сатиной 27 ноября 1846 г.:

«Возки беспрестанно подъезжали к крыльцу, выходили папаши, мамы и непременно три или четыре барышни; мамы в чепцах, а некоторые с прибавкой парика или фальшивых пукель, отправлялись как тапан и усаживались на диван, папаши (степные папаши, эти самые неблагоприятные произведения природы), они гораздо скучнее своих жен и дочерей, и вообще для них не мешало бы сделать новую классификацию и дать им место между животными и растениями. Пошаркав перед некоторыми дамами и целуя руки других, они отправлялись к

папá в кабинет, а дочери? они-то и составляли для нас камень преткновенья, мы должны были их занимать, а когда весело на душе, как не хочется работать. Вот что мы придумали для нашего освобождения: одна из нас подходила к каждой барышне и говорила: “Не знаю, как быть, боюсь, чтоб кому-нибудь из этих девиц не было скучно, с вами это дело другое, мы так давно знакомы”. Улыбка удовольствия мелькала на их лицах, и каждая предлагала как более близкая занимать других – после некоторых необходимых церемоний, мы соглашались. Вижу, как теперь, как ты перед представлением вальсировала с Ог(аревым) на сцене, как вы распустили немного занавес, вставили лорнет и поглядывали на публику. Даже теперь, сидя здесь одна, хохочу, вспоминая, как Ог(арев) просил Ив(ана) Осиповича сделать суфлерскую дыру как можно неудобнее, несмотря на то, что он сам должен был суфлировать в одной пьесе: ему хотелось помучить Илью Васильевича Селиванова. Как весел был наш обед, мы уверяли всех, что актеры не могут обедать за большим столом, и принимали в наш круг только нескольких избранных, как Нина (Юрлова) и Ог(арев). Вино лилось, тарелки летали вдребезги с головы Ог(арева), шуткам и смеху конца не было»⁶⁴.

При сокращении у Пассек в последней фразе появилась неясность: “Вино лилось, тарелки летали вдребезги”. Поэтому в своем варианте воспоминаний Тучкова-Огарева более подробно объясняет: “Он (Огарев) очень оживился и в конце обеда показывал нам, как, выпивая бокал шампанского левою рукою за здоровье сестры, правую он ловко, с одного удара, разбивал тарелку о свою кудрявую голову”⁶⁵.

Переработке и сокращению подвергся и следующий отрывок:

«Ог(арев) оставался у нас месяц или более, уезжал недели на две или на три к себе и час-то писал к папá. Время так шло, целый день мы занимались с m-lle Michel, читали одни, играли на фортепиано, только в две или четыре руки, потом все собирались к завтраку; Ог(арев) только к тому времени и вставал, после завтрака все поговорят и разойдутся; в шесть часов Ог(арев) и папá опять приходили в салон, они то разговаривали, то играли в шахматы, потом обед, бесконечные разговоры с m-lle Michel; Ог(арев) курил и молчал, выпивал двенадцать чашек чаю, после обеда незаметно появлялся самовар и оставался часов до трех, его поддерживали и делали свежий чай, но декорация не менялась, скатерть и чашки не сходили со сцены; в десятом часу папá вызывали в кабинет: “Начальники дожидаются”, и папá уходил, иногда звал Ог(арева) с собой, особенно, если Петр, фельдшер, дожидался; Ог(арев) давал свои медицинские советы и вскоре возвращался к нам; казалось, и мы не ошиблись, что после папá Ог(арев) всего более любил болтать с нами, он был неразговорчив и с нами, но так приветливо, с такой добротой на нас смотрел, что нам невольно становилось легче и веселее при нем»⁶⁶.

В редакции Пассек шахматы превратились в шашки.

Иногда эмоционально окрашенный текст принимал у Пассек характер простого сообщения, например: “После просьб и хлопот нам позволялось иногда покататься с Николаем Платоновичем в санках”. У Тучковой-Огаревой было живее: “Иногда мы ездили в санях с Ог(аревым). Это стоило страшных хлопот и просьб. M-lle Michel находила это неприличным”. Или: “С наступившим теплом в сопровождении Огарева и двух кучеров нам позволяли ездить верхом”. Текст Тучковой-Огаревой: “Потом мы начали ездить верхом с Ог(аревым), два кучера ехали за нами. Мы смеялись, находя, что ездим, точно арестанты под стражей”. Отрывок, в который входит этот текст, помещен в третьем томе записок Пассек сокращенно. В варианте Тучковой-Огаревой больше живых деталей:

«Наконец наступила весна, пришла и Святая, этот праздник из праздников, любимый мною так безумно в детстве: и весна, и звон колоколов, и яркие цвета праздничных нарядов, освещенных первыми теплыми лучами солнца, – все это скучно большим, а детское сердце радуется бесконечно. Ог(арев) хотел ехать, но папá его не пустил, распутица была страшная; все ожидали пути с нетерпением, мы одни смеялись и радовались, что не было проезда. Ночью, в слякоть, мы отправились в церковь, и Ог(арев) с нами, народу тьма, все так веселы, так нарядны; воротясь домой, мы разговляемся неосвященным куличом. На другой день пошли гулять по селу с Ог(аревым). Мы беспрепятственно проваливаемся в снег, падаем и хохочем. Раз я так забавно упала на колени, что Ог(арев) пресерьезно сказал: “Voilà, m-lle Natalie, touchée par le son des cloches, qui se met à prier”^{71*}.

Воротясь домой, мы переодевались у Любаши, потому что иначе нам бы досталось от m-lle Michel. Да и папá бы встревожился, если б увидел нас совершенно мокрых до колен (...). Становилось совсем тепло. Наконец, Ог(арев) уехал и пробыл довольно долго. На этот раз он уезжал в какой-то большой праздник, долго мы ходили с ним по саду, желая и не смея спро-

71* “Вот м-ль Натали, растроганная звоном колоколов, принимается молиться” (франц.).

силь, когда он вернется; день был чудный, улицы пестрели народом: красные платки и сарафаны виднелись повсюду, так весело кругом и так тяжело на душе, слезы подступали, но мы мужались и проводили Ог(арева) до заводского мостика, смеялись и шутили, все думали, как бы отдалить этот отъезд, все надеялись, хотя никакой причины к тому не было, что вот-вот что-нибудь такое случится, кто-нибудь приедет, и Ог(арев) принужден (будет) остаться, но ничего не случилось, тарантас покатился по грязной дороге и скоро скрылся из виду под горой. Мы стояли неподвижно; наконец, папá сказал: “Ступайте домой, а я зайду на завод”. Какую странную пустоту чувствуешь в сердце иногда после отъезда близких людей, все изменяется, дом принимает мрачный вид, солнце неприятно и ненужно светит, чужое веселье наводит ничем не отражимое уныние. Мы чувствовали себя до такой степени ненужными и брошенными, что едва удерживали слезы; я предложила идти к качелям, чтоб хоть сколько-нибудь победить себя наружно. Девушки с нашего порядка были на качелях, были почти все наши ученицы, они нам обрадовались и позвали качаться, сначала мы стали насильно развлекаться, но малопомалу веселые лица нас увлекли»⁶⁷.

Переписываться с Астраковой Натальей Алексеевной начала в 1848 г., когда ей было девятнадцать лет. Возвратившись из-за границы, она посетила Астраковых⁶⁸ с письмом от Н.А. Герцена⁶⁹. Бывала она у них и позднее, вместе с Огаревым⁷⁰. Из всех московских друзей Герцена и Огарева только Астракова и ее деверь С.И. Астраков сочувственно отнеслись к сближению Огарева с Натальей Алексеевной и морально поддерживали их. Они переписывались не только до отъезда Огаревых в Лондон, но и все время пребывания их за рубежом (а с Тучковой-Огаревой и после возвращения ее в Россию).

В новонайденном архиве Астраковой (ГЛМ) сохранилось пятьдесят поздних писем к ней Тучковой-Огаревой, которые позволяют более полно осветить ее биографию. Некоторые из них являются набросками к воспоминаниям, “Исповеди” и другим мемуарным отрывкам. Ясно, что до нас дошли не все письма Натальи Алексеевны. Только немногие из писем датированы самой корреспонденткой – на большинстве же даты проставлены Астраковой и, по-видимому, скопированы с почтовых штемпелей. Сохранившиеся ответы Астраковой находятся в РГБ (ф. 69.9.22–24) и РГАЛИ (ф. 359, оп. 1, ед.хр. 222, л. 1–22).

Письма Натальи Алексеевны из коллекции Литературного музея, написанные еще при жизни Герцена, публикуются И.А. Желваковой выше, в этом же разделе, письма же более позднего времени цитируются здесь нами. Два из них написаны в Цюрихе, когда у нее еще сохранялась живая связь с окружением Герцена. В них рассказывается о его детях, об Огареве... Но основное место в них занимает ее собственная дочь – дочь Герцена – Лиза.

(Цюрих. Начало 1874 г.)

Вы меня спрашивали как-то об Лизе и об детях. Саша все во Флоренции, я почти потеряла счет его детям, весной будет еще 7-й⁷¹.

Ольга в Париже – у нее родился сын⁷² – все этим очень счастливы. Тата теперь с ней – не знаю, надолго ли.

Дети Сатиных в Давосе – здоровье их будто поправляется, но я очень боюсь весны для Алексея – никто из докторов не верит в возможность его выздоровления.

Лиза со мной – не знаю, на кого она похожа, – иные говорят, что на Тату Г(ерцен), но Тата гораздо красивее ее. Она очень умна и будет, конечно, самая энергичная из семьи, – но что выйдет из этого? – не знаю. Теперь она учится страстно, особенно истории, алгебре и геометрии – остальное только по обязанности. У нее образуется очень милый голос, тоже дишкант, как у Ольги, – вот все подробности, которые пришли мне в голову.

Так-то, Татьяна Алексеевна, все годы ушли у нас, до желания жить, а всё живем машинально, как будто дело делаем, а, в сущности, я не более нужна, чем вы: умереть, и все пойдет еще лучше, точно солдаты в строю, оставшиеся сплываются.

Недавно amico^{72*} писал⁷³, видел Серг(ея) Ив(ановича) во сне и спрашивал, жив ли он; те-ряет сильно память – об вас спрашивал тоже.

Прощайте, крепко обнимаю вас. Лиза вас целует”⁷⁴.

(Цюрих.) 10 июля 1874 г.

“Вы спрашивали об Лизе – она всего больше любит историю и математику – но доктора велят ей мало заниматься, потому что она довольно слаба, не слушает советов ни докторов, ни моих – пренебрегает здоровьем, постоянно говорит, что желала бы умереть. Конечно, в

^{72*} друг (итал.).

Цюрихе скучно, в особенности нам, эмигрантам, – да, да, теперь я чувствую, что мы не имели права поставить детей в такое исключительное положение. Старшие спаслись: Саша, кажется, доволен, у него семь человек детей, считая старшего⁷⁵, много дел и хлопот – он любит Италию – чего же ему еще? Мы ждем его на днях, я передам ему тотчас вашу записку⁷⁶. Он едет из Англии, где был несколько раз в этом году по делам.

Тага здорова, она, кажется, хочет поселиться в Париже – может, и Лиза поедет к ней на зиму, а осенью они собираются вместе погостить у Саши и посмотреть на его славных детей.

Хочется с вами побеседовать, но этого не сбудется, а на бумаге все не то – все, что ни идет на ум, все как будто упрек кому-то, жалоба – а жаловаться нехорошо. Редко люди сознательно дурно поступают, все больше по глупости, как говорит русский человек. Послезавтра я увижу m-me Рейхель – она приезжает на музыкальный праздник, я всегда ей рада – мы как будто солдаты разброшенного полка или выходцы с какого-то кладбища – много воспоминаний горячих – куда все девалось, точно на огне сгорело. А вас будем вспоминать – вместе и Сергей Ивановича, – для меня мертвые не умирают, я, напротив, сживаюсь с ними – все знаю, все помню, что они любили, точно они мне завещали помнить. Эта любовь лучше, она лишена эгоизма, эгоизм теперь неуместен, т.е. не имеет смысла, а лучше бы было, если б его и тогда не было, – но люди поздно понимают жизнь, они ее понимают, чтоб лучше, глубже страдать.

Я, кажется, много лишнего написала; простите, не пишется обыкновенно, не хочется писать, а там прорвет плот(ин)у, и не удержишь горьких выражений.

Прощайте, пишите побольше о себе.

Обнимаю вас за себя и за Лизу⁷⁷.

Переписка затем надолго прерывается. Следующее письмо написано в 1882 г. из Долгорукова (Яхонтова), где по возвращении из-за границы Тучкова-Огарева поселилась. Многое пришлось ей пережить за это время, в том числе самоубийство дочери Лизы в 1875 г., когда, как писала она, “последняя нить” ее существования порвалась⁷⁸. Оглушенная трагической гибелью дочери, она, по-видимому, не в силах была продолжать переписку. Постепенно рвутся прежние связи – в первую очередь, с детьми Герцена⁷⁹. Через полтора года после ее переезда в Россию умирает ее отец А.А. Тучков. О душевном состоянии Тучковой-Огаревой в то время дает представление следующее ее письмо к Пассек, в котором она излагает историю своего сближения с Герценом (это один из немногих документов, в котором она так несправедлива к Огареву):



ЛИЗА ГЕРЦЕН

Фотография. Начало 1870-х годов. Внизу подписи неизвестной рукой: “Lise Herzen”, “Лиза Герцен”

Российский государственный архив литературы и искусства, Москва

(После февраля 1886 г.)

Дорогая Татьяна Петровна!

Вы выражали иногда желание знать для себя все, что до меня и до моих детей касается, — я решилась написать мою исповедь.

Когда я приехала в Л(ондон), многое повлияло на меня — несчастье Ал(ександра), его одиночество среди западных друзей и многое вынесенное им от русских, — все притягивало к нему — ревнивое бегство Мальвиды от принятых ею обязанностей еще сблизило нас — характер Ага, его страсть к уединению тоже способствовала нашему чувству. Однако когда мне показалось, что Ал(ександр) разделяет мое чувство, я говорила с Ага, просила отпустить меня в Р(оссию); может, последнее было трудно исполнить, но если б тогда у нас всех была бы близкая женщина, она помогла бы, она придумала бы, как нам разъехаться на время. Я думаю, как и многие из нас, что любовь раз только освежает жизнь, и это имя я скорей дам чувству к Ага — потому что оно было безоблачно, за исключением выносимых мучений по поводу его болезни и побудительных причин к ней. Характерами мы, может, сходнее были с Ал(ександром), но зато сколько мучений, терзаний по поводу Ольги и Мальвиды, по поводу восстановления детей и Ал(ександра) против меня, а позже и моего собственного ребенка, что счастья не могло быть. Однако, когда мы оставались одни где-нибудь на берегу моря, Ал(ександр) забывал все обвинения Мальвиды и пр. и был доволен, счастлив детьми, которых он бесконечно любил. В этой вполне искренней записке, писанной только для вас, я вам скажу с искренней болью, что с рождения моего первого ребенка Ага тоже нападал на меня, раздувал мелочи, его влияние на Ал(ександра) было во всех отношениях громадное — это была почти ненависть ко мне — и я увидела ей конец только после кончины Ал(ександра), тогда он смотрел на меня и на дочь мою с умилением и, провожая нас, плакал не раз. Неужели любовь может перейти в такую противоположность? Я ни с кем не могла говорить об этом.

Впоследствии моя дочь подросла, она скучала в Швейцарии — скучала одинокой тихой жизнью — я имела неосторожность отпустить ее с Наташей в Италию — ее та(лант)ливая натура, слишком необузданная и горячая, избалованная мной и им, страдала от какого-то постоянного неудовлетворения — я терлась, боялась какого-то несчастья — просила Наташу приехать к нам в Ниццу — добрые люди ее не пустили. Тогда я, как бабочка стремится в огонь, исполнила ее требование ехать во Флор(енцию). Провожавший нас короткий знакомый сказал мне: "Dieu veuille que vous ne vous repentiez bientôt de ce que vous faites"^{73*}.

Через две или три недели меня везли за гробом — когда я увидела его на дебаркадере, я вскрикнула и пошатнулась. Дорогой я где-то взяла тихонько нож на столе — но (убить себя) мне не удалось. Саша вырвал его на ее могиле — во Флоренции. Я надевала вер(е)вку и перекидывала через гардину — мне помешали; я достала нож — у меня нашли его; я уходила тихонько, не зная куда и зачем, но дальше, дальше... меня догнали⁸⁰.

И теперь я пишу эти строки, обливаясь горячими слезами и рыдая... Неужели еще долго, долго мне жить?⁸¹

В марте 1876 г. Тучкова-Огарева получила разрешение вернуться в Россию. На этот шаг она решилась не сразу.

"Отец мой, узнавши от Саши по телеграфу⁸², приехал — он не мог увезти меня с собой по случаю моего долгого отсутствия из Р(оссии), — пишет она Пассек в 1885 г., — да я ничего и не желала, отец уехал, не добившись от меня, что я буду делать. Я искала поступить в больницу, но меня отталкивали как иностранку, иноверку — наконец, моя приятельница, граф(иня) Саффи, через директора болонской больницы заставила меня принять. Я шесть недель служила больным и никогда не забуду их любовь и благодарность⁸³. Я получила в это время письмо от отца, который звал меня в Р(оссию), говорил, что выхлопотал мне дозволение, что я могу в его деревне ходить за больными⁸⁴, — я решилась.

Наташа желала со мной проститься⁸⁵, но я отклонила свидания — мне было и так слишком тяжело, я ехала из Болоньи одна, некрепнувшая, с своими страшными воспоминаниями, а тут граница, таможня — два дня я тут прожила и доехала кое-как на перекладной после желез(ной) дороги — от непривычки я захворала и больная добралась до нашей земли, где все номинало юность, Ага, сестру — опять воскресли упреки себе, сожаления. Боже, что за сложная жизнь!"⁸⁶

Позднее (29 июля 1892 г.) Тучкова-Огарева повторила этот рассказ, дополнив его сведениями о первых годах своей жизни после возвращения в Россию⁸⁷.

Поводом для возобновления переписки Тучковой-Огаревой с Астраковой явилась просьба последней, обращенная к детям Сатиных⁸⁸, помочь ей деньгами. В эти годы Астракова жи-

^{73*} "Как бы вам вскоре не пришлось пожалеть о том, что вы делаете" (франц.).

ла на крошечное пособие, которое ей удалось получить благодаря хлопотам друзей. Надо сказать, что в 1876 г., во время сербско-турецкой войны, на посылки солдатам она истратила последние остатки своих средств⁸⁹. Тучкова-Огарева тотчас же откликается на ее просьбу и высылает ей деньги. Неоднократно помогала Астраковой она и впоследствии. Вот одно из ее писем – от 8 июля 1882 г.:

«Долгоруково. На станцию Исса
Пензенской губ(ернии) Инсар(ского) уезда

Милая и дорогая Татьяна Алексеевна, по воспоминаниям, по дружбе к близким личностям.

Что могу вам написать? Я все еще жива – думаю и помню. Вы понимаете, как это больно – а забыть не желаю, – кроме этих воспоминаний, дорогих и ужасных, у меня ничего нет.

Живу в кругу исключительно крестьян, знаю их нужды, хорошие и слабые стороны и никого не хочу видеть из окружающих владельцев. Хотела бы вас видеть, хоть на один день, но этого не будет – столчный воздух мне запрещен вашими докторами.

Прощайте, будьте здоровы, иногда вспоминайте и обо мне.

Вся ваша

Н а т а л ь я ... 90»

В этом письме Тучкова-Огарева дает понять своей корреспондентке, что въезд в Москву ей запрещен. Действительно, по приезде в Россию ее обязали подпиской поселиться у отца в Долгорукове, «с учреждением над ней строгого полицейского надзора, в особенности же за сугубыми ее сношениями»⁹¹. Письма к ней вскрываются и надолго задерживаются⁹². В феврале 1882 г. Тучковой-Огаревой было объявлено о снятии с нее надзора и о запрещении проживать в Москве и Петербурге, но надзор этот вскоре же был учрежден снова – теперь секретный. Несмотря на запрещение, Наталья Алексеевна в начале июня 1885 г. на несколько дней приезжала в Москву и виделась с Астраковой⁹³. Это была их последняя встреча. Тучкова-Огарева нигде прямо не упоминает об этой поездке и только в письме от 14 июня того же года (вероятно, сразу же по возвращении в Старое Акшено) она сообщила Астраковой, что хорошо доехала, а через год с лишним, 5 октября 1886 г. пишет: «Как мне жаль, что Москва так далека от нас – мы бы с вами вспомнили былое – но, должно быть, наше свидание было последнее»⁹⁴.

Только в 1896 г. с Тучковой-Огаревой был снят по ее ходатайству секретный надзор, и она получила право жить во всех городах империи⁹⁵.

Долгие годы Наталья Алексеевна почти безвыездно живет в Долгорукове, взяв на себя обязанности по управлению имением. В одном из писем она сообщает Астраковой:

«Я занимаюсь делами, потому что Долгоруково не разделено между нами и в последние годы жизни моего отца тяжело заложено. Это мне мешает делать все, что бы я желала, для долгоруковских крестьян. Я живу в их среде, занимаюсь больными, помогаю им, и они ездят к нам даже из больших сел – лекарства покупаю и даю им даром; вижу нужды народа и его слабости (...)

Я боюсь только одного: пережить последних близких...»⁹⁶

И 16 апреля 1883 г.:

«Эту зиму у меня не было конторщика, накопилось много конторской работы, продажа хлеба и пр. – я и надела комут – что делать? Вам, может, невероятно, но здесь много дела: то забота о различной скотине, то постройки, поправки, продажи, покупки: у нас ведь нет управляющего, помощники мои – крестьяне. Хозяйство, хотя оно ничтожно, здесь не найдешь настоящей прислуги, две бабы, которые у нас, ничего не знают, – потом больные занимают много время. Мне хотелось бы еще устроить родильный дом для всякой женщины и для семейной. Именно неудобства, которыми окружена крестьянка во время родов, причиняют много внутренних болезней, почти всегда неизлечимых»⁹⁷.

Предложение Астраковой шить для крестьянских детей из лоскутов одеяла и рубашки Тучкова-Огарева принимает с радостью.

«Мне постоянно кажется, что я в дороге, – пишет она 10 июля того же года, – я живу сколько-нибудь порядочным человеком при моей матери – а когда она в Акшене... Днями я не имею и пяти минут свободных – потому редко могу шить для бедных ребятишек – и ваше предложение мне очень нравится; часто приносят больных детей, которых нечем прикрыть, да и в нашем селе немало бедных. У нас все уходит за Волгу, потому что здесь рожь пропала, – здесь голод – июль наступает, а яровое низкое – не растет – теплых дождей вовсе не было»⁹⁸.

Она явственно ощущает свои годы, тяжелый груз прошлого. Появляется неодолимое чувство усталости, и Астракова, сама больная, физически немощная, но еще бодрая духом, старается поддержать ее, ссылаясь на трагизм своего собственного существования. «Вы живете

с живыми людьми, вы знаете, что им нужны, что без вас им будет плохо. А я лишена и этой отрады, никому ни на что не нужна (...) Трудно, тяжело так жить..."⁹⁹

В следующем письме, от 29 октября, она продолжает, имея в виду Герцена и Огарева:

"Не в отчаянии и тоске нужно проводить остальную жизнь нашу, но в память наших близких посвятить ее на дело, достойное их памяти: они ратовали за общее дело добра, продолжайте и вы выполнять их мысль (хотя в скромных размерах). Но для выполнения этого нужна бодрость духа, и хорошее расположение, и здоровье. Всякое прятанье от дела в себя, в свою заветную мысль – в тоску мне кажется известным преступлением, т.е. быть совершенным эгоистом, а ведь это преступление против совести. Эгоизм присущ молодости, когда увлекаются страстями, а в зрелые лета нужно его отринуть. Мне кажется, нет лучшего наслаждения в одинокой жизни, как жить для других и сознавать, что я приношу пользу и удовольствие"¹⁰⁰.

Астракова, самоотверженный, придерживавшийся передовых взглядов человек долга, чутко улавливает свойственный натуре Тучковой-Огаревой эгоизм (и Герцен не раз упрекал ее в этом). С присущей ей прямолинейностью она писала своей корреспондентке: "Мне жаль вас, и тяжело за вас, и досадно, что эгоизм в вашей натуре еще преобладает сильно, а это недостойно вас"¹⁰¹.

Тучкова-Огарева отвечает на это письмо (от 26 августа), проникнутая усталостью и настроением, знакомыми нам по ее письмам к Герцену после смерти их детей-близнецов:

"Милая Татьяна Алексеевна,

Теперь я опять здорова, но старость пришла – ни сил, ни охоты действовать нет более. Хотелось бы подальше от людей и от дел – зарыться в своих воспоминаниях, отдаться им вполне – и тогда что же? Тогда, может, ее скорей дожدهмся: что за этой занавесью "не знаю" – но *они* за ней, и меня влечет непобедимое желание быть им подобной.

Как я ни старалась принимать участие в людях, но, в сущности, это натянуто, для меня земля опустела – все потеряло смысл. У меня осталась только жалость к людям и близким. Я знаю, вам это не понравится, вы желали бы видеть, что я помогаю окружающим и тешу себя этим, – но я не хочу вас обманывать..."¹⁰²

Эта переписка ярко характеризует и Астракову, сохранившую высоту духа и верность идеалам молодости. Она продолжала заниматься благотворительностью, несмотря на то, что вела полунищенское существование и вынуждена была постоянно обращаться за помощью ("Если бы вы знали, как тяжело просить!" – пишет она Тучковой-Огаревой). И в то же время сообщает своей корреспондентке (6 сентября 1883 г.): "Я не смею в память его (С.И. Астракова) не отдать последний грош, который у меня остается, бедняку, который просит на хлеб! Я прокляла бы себя, если б не сделала этого. Это вся моя мысль, мое убеждение, т.е. продолжать то, что делали наши дорогие усопшие, и в этом сила и наше спокойствие – это и есть жить в прошлом"¹⁰³. Она советует и своей корреспондентке: "Вы можете продолжать ту деятельность, которой были преданы дорогие вам люди!"¹⁰⁴

Эта мысль позднее будет целиком воспринята Тучковой-Огаревой и станет основой ее жизненной философии. Ее деятельный характер поможет ей преодолеть усталость, и она снова примется за работу, посвящая Астракову во все подробности своей жизни:

"Вот теперь мы разделимся, и, если именно уцелеет несмотря на холодный год, то мне хочется кое-что сделать для бедных; вот что я придумала, – пишет она 25 января 1884 г. – Надо по летам принимать детей на день, пока матери ходят в поле. Конечно, надо нанять еще проворную старуху, которая накормит их раза три в день теплым молоком, кашей, хлебом. Сад наш довольно большой, тени много – я уверена, что они будут у меня охотно до вечера, матери, идя мимо, возьмут их обратно, а то жалость глядеть на этих бедных ребятишек в поле, на жару, с прокислым молоком.

Если дела пойдут изрядно, то возобновлю и больницу, хоть две большие комнаты для женщин и мужчин. Часто, по моему взгляду, можно поправиться – от пищи, от ободрения, от ухода, и это была всегда моя страсть. Да, дорогая Татьяна Алексеевна, я тоже думаю, что то, что во мне доброго и хорошего, развивается в память их, тем более, что эгоизм молодости давно прошел, эгоизм за детей тоже. Чего мне желать, кроме скорого конца, быть полезной несчастным – иногда в этом судьба посылает мне утешение"¹⁰⁵.

И несколько позднее:

"Могла бы я писать о нравственном и материальном состоянии крестьян и о возможной им помощи со стороны частной и власти имеющей. Я живу в этом мире. Но кто будет меня слушать? Надо молча ждать своей очереди" (письмо от 28 мая 1886 г.)¹⁰⁶.

Условия жизни, скромность средств не позволяли ей оказывать крестьянам помощь в той мере, в какой хотелось бы. Больницу устроить не удалось. Все эти годы она неутомимо собирала библиотеку для крестьян, но только в 1904 г. получила разрешение на открытие народной библиотеки в Долгорукове¹⁰⁷.

Тучкова-Огарева тяжело переживала раздел имения, произведенный в 1884 г., предвидя грозящую ей, ее матери и Сатиным полнейшую бедность. Она делится своими заботами и волнениями в связи с предстоящими взносами в банк и разного рода платежами, пытается раздобыть какую-либо работу, просит Астракову и Пассек достать для нее переводы с иностранных языков, устроить ее в купеческую семью учительницей:

«Неужели, милая Татьяна Алексеевна, вы или Татьяна Петровна не могли бы доставить мне такое место, где бы говорили, что я живу только как знакомая, — пишет она 4 октября 1885 г. — Может, порядочные купцы дорожили бы моими крошечными познаниями в музыке, франц(узском) языке и пр. По русским учебникам могла бы готовить их в гимназию, — конечно, девочек. Ну, право, если б можно было, я бы бросила Д(олгоруково). Если бы у меня были сколько-нибудь состоятельные друзья, я бы выпросила комнату и пищу и сидела бы с своими бумагами, это было бы всего лучше — но у меня нет никого в России»¹⁰⁸.

В 1887 г. долгоруковские крестьяне расправились с новым управляющим Станиславским (см. об этом ниже, в публикации писем Натальи Алексеевны к Е.С. Некрасовой). На Тучкову-Огареву это произвело тяжелейшее впечатление. Жизнь в Долгорукове среди людей, причастных к убийству, была для нее невыносима. Надежды на продажу имения не оставалось. Почти на два года переезжает она в Старое Акшено. Реже становятся ее письма к Астраковой. Невозможность помогать подруге угнетает ее. Даже марки для писем вынуждена она просить у племянников. И все же из своих скудных средств она высылает ей мелкие суммы.

Письма Тучковой-Огаревой помогают представить себе обстановку, в которой проходят эти годы. Живет она почти в полном одиночестве, чувствует себя заброшенной и лишней. Духовной связи с племянниками не возникает. В одном из писем она с горечью пишет, что никто из родных не прочитал ее уже опубликованные мемуары, прошлое никого не интересует. Чтение воспоминаний Пассек и работа над собственными мемуарами и над «Исповедью» целиком погружают ее в минувшее. Тучкову-Огареву продолжает преследовать мысль о ее покойных детях; она постоянно винит себя в их гибели. Вот несколько характерных отрывков из ее писем к Астраковой:

«Дорогая Татьяна Алексеевна,

Доживаем обе в одиночестве — я говорю это, хотя с лета моя мать здесь; она тут, вероятно, потому, что мы взяли маленькую девочку, которая ее очень забавляет. Вечером мы расходимся рано, потому что иногда мне приходится держать ребенка почти всю ночь на руках — а надо силы, чтобы не задремать с ней (...) сижу с ней на руках и думаю о тех, которые унесли с собой в могилу весь свет моей жизни, проверяю себя, понимаю очень поздно свои ошибки... Как все выходит неумолимо последовательно, и тогда льются горькие, никем не видимые слезы... Как хочется тогда невозможного, хочется остановить время, вернуться к прошлому и тогда бы, кажется, оберечься от всех ошибок, от всех злых людей — и все было бы цело. Когда я одна, а это каждый вечер, каждую ночь, мне необходимо все переживать опять — какие другие мысли займут мою голову?» (31 декабря 1886 г.)¹⁰⁹

«Когда же не спится, все припоминаю и вижу, как я ошибалась постоянно. Как, имея хорошую цель, я ее не достигала, а мучила себя и других — и все это непоправимо, а страшно и бесплодно мучит, поэтому я и начала было писать свои записки с целью облегчить себя — отдать на строгий суд людей и тоже получить облегчение своей исповедью. Не знаю, удастся ли...» (24 декабря 1887 г.)¹¹⁰.

«Я очень обрадовалась вашему почерку, хотя ваше письмо какое-то грустное и обескураженное. Что делать? Нехорошо нам доживать одним, меня часто какое-то зло берет на свое здоровье — обидно пережить все, что дорого, — а мне еще приходится во многом себя упрекать, я ничего не сумела предвидеть, предусмотреть, предотвратить... и с этими мыслями каждый день ложиться спать! Спишь от усталости, а не так светло, как другие засыпают: Вам, по крайней мере, не в чем себя упрекать — и за это спасибо судьбе — да не судьбе, а вам самим. Вы были всегда любящий и хороший человек, а я? Минутами была и я светлое существо, но не было у меня выдержки, не умела владеть собой и нести безропотно последствия своих же ошибок» (10 февраля 1889 г.)¹¹¹.

Астракову и Тучкову-Огареву прочно связали воспоминания о первой жене Герцена и то чувство благоговения, с которым они всегда относились к ней и к ее памяти. Вопрос о возможной публикации глав о семейной драме из «Былого и дум» вызвал у них, однако, острое разногласие.

6 января 1886 г. Тучкова-Огарева писала Астраковой:

«Т(атьяна) П(етровна) пишет, что вышел роман «Жизнь за жизнь»¹¹², где рассказали историю Гerv(ега); мне кажется, лучше рассказать просто, как было, — скрыть нельзя да и она¹¹³



А.А. ТУЧКОВ

Фотография Г. Мана. Пенза, 1873. На обороте рукой
Таты Герцен: "Alexis Tutchkoff, 1873"

Музей Герцена, Москва

"Вернувшись, я нашла отца очень слабым (...) Отец жил при
мне только полтора года – нечего вам говорить, как тяжело
хоронить отца, а особенно такого отца, как он был"

(Н.А. Тучкова-Огарева – Е.С. Некрасовой, 29 июля 1892 г.)

не желала, а рассказать гуманно – объяснить, что он сам вызвал в ней недоверие к их союзу – молчала она из гуманности, из страха потерять А(лехсандра) и детей. Ал(ександр) хотел уехать с Сашей в Америку – тогда она меня звала. Странно, что я никому не давала ее писем. Ал(ександр) взял их у меня, чтоб переписать, – и некоторых я не нахожу – например, то письмо, в котором она меня зовет, – вообще письма из Ниццы с приписками Герв(ега). Еще нет того письма, которое нас озадачило, где она говорит: "Я была в когтях злого демона", – где им быть? Мы¹¹⁴ тогда думали, что все это клевета, а после этого письма задумались...»¹¹⁵

Астракова болезненно восприняла и известие о том, что Пассек собирается публиковать письма первой жены Герцена, связанные с семейной драмой. Тучкова-Огарева отвечает ей 28 января 1886 г. Ее письмо свидетельствует о чувстве ответственности, с которым она относилась к прошлому и к памяти Н.А. Герцен:

«...Если Т(атьяна) П(етровна) ошибается и ничего против Наташи не писано в настоящее время, то ей не нужно ничего о ней печатать; что касается до ее писем, я вовсе с вами не согласна – они *обличают* только ее симпатичные и оригинальные взгляды на все, ее симпатию к разным лицам, как Ог(арев) и пр. Успокойтесь, тут ничего нет того, чего вы боитесь, – а зачем вы хотите украсть у всех такую исключительную, симпатичную поэтическую натуру? у меня противоположный

взгляд на вещи; я не смотрю скромно на себя как на удивительное явление природы, которое только может оценить Наташу. Я думаю, между мыслящими, читающими людьми найдется много, которым чтение ее писем доставит огромное наслаждение. Какое право мы имеем лишать их этого счастья? Простите меня, в вашу очередь, милая Татьяна Алексеевна, не делю ваших мещанских взглядов на жизнь.

Если б Ал(ександр) и Наташа так же смотрели, он бы не написал V тома своих записок – но, впрочем, тогда они были бы не они. К несчастью, ваш мещанской взгляд разделяют дети его, потому-то V том может никогда не явиться в свет, и воля умерших не будет исполнена – но зато мещанская нравственность будет удовлетворена. Оставим эпизод, которого вы боитесь, по крайней мере из любви к Наташе не держите под спудом все прекрасное, симпатичное, поэтическое... она была моим единственным идеалом между женщинами. У вас какая-то китайская любовь, которая окружает стеной любимое существо – но неужели человечество так жалко, что, кроме вас, меня и Таты, никто ее не оценит? Полноте, пожалуйста. Ее письма составляют почти одни всю отраду моей жизни. Найдутся отголоски на них – я верю в человеческое понимание.

Прощайте, не сердитесь – так уж природа создала нас с разным пониманием, но, может, с одинаковой любовью.

Преданная вам Н.

P.S. Будьте покойны, я написала Т(атьяне) П(етровне) остановиться". (28 января 1886 г.)¹¹⁶.

Астракова отвечала на это 6 марта:

"Вы хотите проявлять во всеуслышание ваши чувства, я, наоборот, хочу спрятать их поглубже в своем сердце, не желая, чтобы кто-нибудь дотрогивался до этой святыни"¹¹⁷.

Мнение Астраковой поколебало Наталью Алексеевну; она просит исключить упоминание о Гервеге из своих воспоминаний о Н.А. Герцен, затем неоднократно повторяет о возвращении ей этой части мемуаров.

Переписка с Астраковой обрывается в 1890 г. Последние письма корреспондентки Натальи Алексеевны свидетельствуют о постепенном угасании ее личности: она уже почти не может читать и с трудом воспринимает новые впечатления, целиком сосредоточившись на окружающем быте.

О смерти Астраковой Наталья Алексеевна узнала от Е.С. Некрасовой. 30 июня 1892 г. она писала своей московской знакомой: "Одним вы меня очень опечалили, известием о кончине дорогой Т.А. Астраковой. У нее близких нет – она хотела распорядиться, чтоб мне выслали ее бумаги..."¹¹⁸

Как теперь стало известно, архив Астраковой остался у доктора В.В. Антушева и только в 1977 г. поступил в Государственный Литературный музей. Ряд ценнейших материалов этого фонда (в том числе письма Герцена и Огарева к Астраковым) публикуется в работах И.А. Желваковой, И.М. Рудой и в настоящем обзоре, а также в кн.1 этого тома "Лит. наследства".

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ "Дневник, писанный на Тальской фабрике..." вероятно, весною 1853 или 1854 г.", начинается словами, обращенными к сестре: "Когда-то ты мне говорила: напиши нашу жизнь..." (РП IV, 132).

² См. там же, 157–163, 167–184, 186–192, 201, 206–209, 220–221.

³ Там же, 182–183.

⁴ Племянница Нат. Ал. – Тата (дочь Е.А. Сатиной).

⁵ Имеется в виду Герцен. В настоящей записи анализируются последствия их сближения. Следует отметить, что Нат. Ал. долго скрывала от сестры свои отношения с Герценом; ее дневниковых записей 1850–1870-х годов Е.А. Сатина, вероятно, никогда не читала.

⁶ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 43–43 об., 42 об. – 42, 46, 48. Изучение рукописи позволило нам уточнить архивную пагинацию. Эти записи близки к записям дневника Нат. Ал., опубликованным в РП IV, 167, 179, 184.

⁷ Герцен и Нат. Ал. жили в Торки с 24 августа по 4 октября 1861 г. См. выше письма Нат. Ал. к Огареву за этот период.

⁸ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 179, л. 16 об.

⁹ Там же, ед. хр. 174, л. 47.

¹⁰ Дарственная надпись Герцена на этой тетради: "A Natalie. 11 février 1857. Londres. A. H e r c e n" (см. "Общие указатели к Собранию сочинений в 30 томах" с. 424).

¹¹ Этим числом датировано письмо Нат. Ал. к сестре (РП IV, 187–188).

¹² Т.е. дочерей Герцена – Тату и Ольгу.

¹³ Еще не родившаяся дочь Нат. Ал. и Герцена – Лиза.

¹⁴ Все приведенные выше тексты хранятся в РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 36–38 об., 39, 41. Предшествующие записи на л. 31–35 (датированные 1 октября 1857 – 18 мая 1858 г.) опубликованы в РП IV, 188–191.

¹⁵ В сентябре 1860 г. Е.А. Сатина с детьми возвращалась в Россию после недолговременного пребывания за границей.

¹⁶ Е.А. Сатина умерла 17/29 июля 1871 г.

¹⁷ Дата первого из неотправленных писем Нат. Ал. к сестре – 27 ноября 1856 г. (см. РП IV, 157–161).

¹⁸ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 81–86 об. – Остальные сны опубликованы в АО, 248–255.

¹⁹ См. РП IV, 105–112; АО, 261–268.

²⁰ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 28.

²¹ Там же, л. 30–30 об.

²² Ср. письмо Герцена к И.С. Тургеневу от 2 марта 1857 г. (XXIV, 77).

²³ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 35.

²⁴ О работе Пассек над т. III воспоминаний см. в исследовании А.Н. Дубовникова «Воспоминания Т.П. Пассек "Из дальних лет" как источник для изучения биографии Герцена и Огарева» ("Лит. наследство", т. 63, с. 584–587).

²⁵ РГБ, ф. 69. 10. 85, л. 1–3.

²⁶ Письмо Нат. Ал. от 18 июля (РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 9–10).

²⁷ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 3.

²⁸ См. "Лит. наследство", т. 63, с. 605; Пассек II, 564–573.

²⁹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 26.

³⁰ Возможно, об этой рукописи идет речь в письме Нат. Ал. к А.А. Герцену от 23 января 1876 г. (см. АО, 228–230) и в ответном письме А.А. Герцена (там же, 230). По-видимому, рукопись содержала воспоминания о совместной жизни Нат. Ал. и Герцена.

³¹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 3–3об.

³² Там же, л. 8об.

³³ РГБ, ф. 69. 10. 86, л. 31 (ошибочно датировано 1886 г.).

³⁴ В 1848 г. Н.А. Герцен подарила Н.А., Е.А. Тучковым и М.Ф. Корш по голубой косынке. В конце 1903 г. Нат. Ал. послала свою косынку вместе с дагерротипом, где Н.А. Герцен-Захарьина снята с Ольгой на руках, и с рисунком, изображающим Ниццу (работы Н.А. Герцен-Захарьиной), для "Комнаты 40-х годов" Румянцевского музея. Вот что писала она по этому поводу Е.С. Некрасовой 2 января 1904 г.: "Про-

стите, что моя жертва музею доставила вам только неприятности: дагерротип разбит, голубую косыночку (клетками), верно, не заметили и выбросили с осколками стекла и рисунок Н.А. с ее припиской" (РГБ, ф. 196. 18.27, л. 1).

³⁵ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 77, п. 12.

³⁶ Это письмо датируется на основании слов Нат. Ал.: "Очень благодарю за поздравление, но, признаться, годы для меня безразличны, они для меня что разбитые часы, ничего не показывают, у меня свой счет: в 1864 году маленькие дети оставили меня, в 1870 году – второй удар, в конце 1875 – третий и последний удар, – с тех пор все безразлично" (РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 14об.). Ср. датированное 6 января 1886 г. ее письмо к Т.А. Астраковой, в котором она тоже перечисляет эти скорбные даты смерти близнецов, Герцена и Лизы (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 77, п. 12).

³⁷ Эти письма Огарева опубликованы в РП IV, 9–68.

³⁸ Нат. Ал. имеет в виду историю увлечения Н.А. Герцен Г. Гервегом.

³⁹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 14–14об. Об отношениях между Н.А. Герцен и Тучковой-Огаревой см. выше, в публикации Л.Р. Ланского писем Н.А. Тучковой к Н.А. Герцен (Захарьиной) и Герцену.

⁴⁰ Там же, л. 15. Пассек по просьбе Нат. Ал. не включила в свои воспоминания отрывок о Г. Гервеге (глава "В Италии"). Впервые опубликован в "Воспоминаниях" Тучковой-Огаревой (1929), с. 487–488. В этом издании отрывки из записок Пассек публиковались по копии, исправленной Нат. Ал.; во всех остальных эта глава печаталась по журнальной публикации "Русской старины".

⁴¹ Эти материалы были напечатаны не в № 1, а в № 2 журнала.

⁴² Главы "Семейство Тучковых", "В Италии", "Во Франции и в России", а также присланные Нат. Ал. письма Герцена, Н.А. Герцен и Огарева появились в РС, 1886, № 10, с. 149–180 (РГБ, ф. 69. 10. 86, л. 8–8об.).

⁴³ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 9–9об.

⁴⁴ РГБ, ф. 69.10.86, л. 31. Эта часть воспоминаний опубликована в РС. 1887, № 10.

⁴⁵ См. прим. 24.

⁴⁶ Письмо Пассек датировано 27 марта 1887 г. РГБ, ф. 69.10.87, л. 2.

⁴⁷ То же, л. 1об. – 2. Эта рукопись Нат. Ал. целиком вошла в отдельное издание т. III "Из дальних лет". В том же 1888 г. Пассек писала ей: "Кончина Александра напечатывается полно, как ты мне прислала" (РГБ, ф. 69.10.88, л. 8).

⁴⁸ Письмо Пассек с сообщением о получении биографии Нат. Ал. см. в РГБ, ф. 69.10.88, л. 3–4 об.

⁴⁹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 20–20об.

⁵⁰ См. выше.

⁵¹ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 79, п. 1.

⁵² Там же, п. 4.

⁵³ Письмо Нат. Ал. от 26 марта (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 79, п. 4). Здесь же хранятся ее воспоминания о С.И. Астракове – см. письмо от 10 мая 1888 г. (п. 5).

⁵⁴ Письмо Астраковой от 15 мая (РГБ, ф. 69.9.24, л. 16 об. – 17 об.). Интересно, что сама Астракова писала воспоминания о С.И. Астракове, которые приняты были в "Исторический вестник", но вскоре возвращены ей. Тогда она отправила свою статью в Дерпт к проф. Н.А. Висковатову (см. об этом в ее недатированном письме к Пассек – РГБ, ф. 69.9.26, л. 2–2 об.).

⁵⁵ Тучкова-Огарева, 73–74.

⁵⁶ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 79, п. 4.

⁵⁷ Относительно "странностей" цензуры Нат. Ал. писала Астраковой 24 января 1888 г. в связи с возможной публикацией стихотворений Огарева в "Русской старине": "Насчет стихотворений Огар(ева) не знаю, как вам сказать, ведь печатает же о них обоих Тат(ьяна) Петр(овна) – их имена встречаются в печати. Как-то все идет капризно, нелогично, непоследовательно" (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 79, п. 2).

⁵⁸ Письмо Нат. Ал. от 9 июня 1888 г. (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 79, п. 6).

⁵⁹ Письмо Нат. Ал. от 10 февраля 1889 г. (там же, ед.хр. 80, п. 1).

⁶⁰ Гл. I–IV появились в "Русской старине", 1890, № 10.

⁶¹ Эти главы опубликованы были в "Русской старине", 1894, № 9–12; гл. XV–XVII в "Северном вестнике", 1896, № 1–2.

⁶² ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 80, п. 9.

⁶³ См. их ниже в обзоре "Письма Н.А. Тучковой к Н.А. Герцен и Герцену".

⁶⁴ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 46.

⁶⁵ Пассек II, 501; Тучкова-Огарева, 52.

⁶⁶ РГАЛИ, ф. 356, оп. 1, ед.хр. 174, л. 47.

⁶⁷ Там же, л. 48, 50, 50–50об.

⁶⁸ Астракова вспоминала об этом в письме к Нат. Ал. от 11 октября 1882 г.: «Вот (...) 48-й год. Вы приехали из-за границы, привезли мне письмо от незабвенной моей Наташи. Она пишет: "Приголубь, приласкай моих вторых детей; Natalie – это перл создания... люби их, как я их полюбила..." Этих слов для меня было довольно – я всегда безусловно верила в непогрешимый выбор Наташи – и я любила и люблю вас (исполняя свято ее завет); я любила Ел(ену) Алек(сеевну) Сатину, потому что люблю и ее детей – они все мне дочери» (РГБ, ф. 69.9.22, л. 5).

⁶⁹ См. в публикации писем Н.А. Тучковой к Н.А. Герцен (Захарьиной) и к Герцену.

⁷⁰ В конце 1853 г. Огарев и Нат. Ал. прожили у Астраковых несколько дней (см. неизданные воспоминания Нат. Ал. (гл. "Дедушкина кончина") – РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 174, л. 61).

⁷¹ 30 апреля 1874 г. родилась Нерина Герцен.

⁷² Эдуард Моно-Герцен.

⁷³ Имеется в виду Огарев. Его письмо неизвестно.

⁷⁴ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 76, п. 1.

⁷⁵ Старший – “незаконный” сын А.А. Герцена – Александр (Тутс).

⁷⁶ Эта записка остается неизвестной.

⁷⁷ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 76, п. 2.

⁷⁸ АО, 284.

⁷⁹ См. подробно об этом ниже, в обзоре писем Нат. Ал. к Е.С. Некрасовой.

⁸⁰ О попытках Нат. Ал. покончить с собой сообщил и А.А. Герцен Н.Н. Сатину 28 декабря 1875 г. (АО, 214–215).

⁸¹ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 7–8об.

⁸² Эта телеграмма до нас не дошла.

⁸³ В РГАЛИ хранится неизданный очерк Тучковой-Огаревой “Больница в Болонье” (ф. 359, оп. 1, ед.хр. 181).

⁸⁴ Это письмо остается неизвестным.

⁸⁵ 14 января Н.А. Герцен писала Нат. Ал.: “Неужели ты не захочешь меня видеть прежде, чем поедешь в Россию?! Это было бы нехорошо, негуманно, уверяю тебя. Ведь мы, может быть, не увидимся больше” (АО, 226–227). См. письмо Н.А. Герцен к Г. Шиффу о ее встречах с Нат. Ал. в 1911 г. (в конце обзора “Письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой”).

⁸⁶ РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 212, л. 24.

⁸⁷ См. обзор писем к Е.С. Некрасовой, с. 263.

⁸⁸ В это время в Старом Акшене жили дети Е.А. и Н.М. Сатиных: Наталья Николаевна, Михаил Николаевич и Мария Николаевна.

⁸⁹ Историю своего разорения Астракова рассказала Нат. Ал. в письмах от 11 и 29 октября 1882 г. (РГБ, ф. 69.9.22, л. 7об., 9об. – 10об.). Она сводится к следующему. После смерти в 1866 г. С.И. Астракова его братья М.И. и В.И. Астраковы предоставили Астраковой в собственность свой московский дом. Она сдавала его жильцам, но получаемых денег на жизнь ей не хватало. Заняв у Таты Герцен 600 фр. на выплату долгов, Астракова продала этот дом за 6000 р. и попыталась жить на проценты с капитала, составлявшие 400 р. в год. Не укладываясь в эту сумму, она постепенно проживала капитал, уверенная в своей близкой смерти. После пожертвований, сделанных ею во время сербско-турецкой войны, у нее осталось от капитала всего 900 р.

⁹⁰ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 76, п. 3.

⁹¹ “Дело канцелярии начальника Пензенской губернии о разрешении Огаревой Наталии Алексеевны возвратиться из-за границы в Россию” (копия – РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 172, л. 6).

⁹² Об этом Нат. Ал. писала Астраковой 10 июля 1883 г.: “Я и письма прямо не получаю, а иногда через три месяца. Это очень неприятно, то деловые письма не получишь во-время, то частные письма, писанные о личных делах с полным доверием, читаются многими до меня. А я живу себе, занимаюсь только делами и больными, не видя никого, даже очень редко своих” (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 76, п. 7).

⁹³ См. письмо Н.Н. Сатиной и Натальи Аполлоновны Тучковой к Астраковой от 14 июня 1885 г. (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 50, п. 10), а также письмо Н.Ап. Тучковой к Астраковой от 9 января 1886 г., в котором она пишет: “Про свое пребывание в Москве дочь говорит, что оно прошло, как сон, и так и сохранилось в памяти сновидением. Может, когда-нибудь, в лучших обстоятельствах, ей придется побывать в Москве, тогда, конечно, вы вдвоем поговорите” (ГЛМ, ф. 248).

⁹⁴ Там же.

⁹⁵ Еще 11 января 1896 г. Нат. Ал. писала Е.С. Некрасовой в связи с хлопотами по удочерению своей незаконнорожденной внучатой племянницы Оли: “Паспорт, с которым я приехала, был у меня отобран, – с тех пор я никакого вида не имею – надзор полиции с меня снимали иногда, и я расписывалась в книге о том, потом месяца через два или три мне опять объявляли, что я никуда не могу отлучаться без позволения (...) знаю, что я и ныне под полицейским надзором” (РГБ, ф. 196.18.21, л. 1об.). Очевидно, Некрасова хлопотала за нее, т.к. вскоре Нат. Ал. сообщила ей: “Надзор с меня снят, пристав думает, что от его представления, а я думаю, от вашего письма, и премного вас благодарю” (там же, л. 33). Сообщение о снятии надзора см. в РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 172, л. 52.

⁹⁶ Письмо от 7 октября 1882 г. (ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 76, п. 4).

⁹⁷ Там же, п. 5.

⁹⁸ Там же, п. 7.

⁹⁹ Письмо от 9 сентября 1882 г. (РГБ, ф. 69.9.22, л. 4–4об.).

¹⁰⁰ Там же, л. 12 об. – 13.

¹⁰¹ АО, 281–282.

¹⁰² ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 76, п. 8.

¹⁰³ РГБ, ф. 69.9.22, л. 22.

¹⁰⁴ Там же, л. 21.

¹⁰⁵ ГЛМ, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 77, п. 1.

¹⁰⁶ Там же, п. 15. См. черновики писем и Записок Нат. Ал. о положении крестьян (РГАЛИ, ф. 359, оп. 1, ед.хр. 199, 204, 206).

¹⁰⁷ Об этом Нат. Ал. сообщала 15 июня 1904 г. Е.С. Некрасовой: “Я вам не писала еще, что получи-

ла разрешение на открытие народной библиотеки при с. Долгорукове, в училище. Туда придется пожертвовать еще шкапы, которые у меня имеются" (*РГБ*, ф. 196, 18.27, л. 14об. – 15).

¹⁰⁸ *ГЛМ*, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 77, п. 10.

¹⁰⁹ Там же, п. 18. Упоминаемую девочку Олю, незаконнорожденную дочь Н.Н. Сатиной, Нат. Ал. впоследствии усыновила (см. ниже в этом разделе).

¹¹⁰ Там же, ед.хр. 78, п. 6.

¹¹¹ Там же, ед.хр. 80, п. 1.

¹¹² Этот длиннейший "рассказ" Н.А. Таль (Утиной) был опубликован в "Вестнике Европы" (1885, № 4–5). Нат. Ал. получила его от Пассек в июне 1886 г. (см. ее письмо к Т.А. Астраковой от 4 июня – *ГЛМ*, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 77, п. 15); см. также ниже в обзоре Л.Р. Ланского "Письма Н.А. Тучковой-Огаревой к Е.С. Некрасовой" (прим. 123).

¹¹³ Н.А. Герцен (Захарьина).

¹¹⁴ *Мы* – Нат. Ал. и Огарев.

¹¹⁵ *ГЛМ*, ф. 248, оп. 1, ед.хр. 77, п. 12. – Письма Н.А. Герцен, переписанные рукой Нат. Ал., хранятся в *РГБ*.

¹¹⁶ Там же, п. 13. См. цитированное выше письмо Нат. Ал. от января 1886 г.

¹¹⁷ *РГБ*; ф. 69.9.23, л. 9.

¹¹⁸ *РГБ*, ф. 196.18.18, л. 3–3об.

ГЕРЦЕНУ

Статья и публикация С.Д. Лишине

Публикуемый комплекс писем Н.А. Тучковой-Огаревой к Герцену дает возможность глубже и непосредственнее, чем прежде, ощутить каждодневное давление той удушливо тяжелой психологической атмосферы (XXX, 108), которая окружала Герцена в последние годы его жизни. Эти письма вместе с тем позволяют осознать, какая нестигаемая сила духа была ему необходима, чтобы изо дня в день преодолевать этот душевный мрак, "глухую боль в груди", эту "трагедию à l'antique" (XXX, 111; XXVIII, 93), сохраняя гармоничное мировосприятие, веру в разум и человечность, претворяя их в свое жизнеутверждающее творчество.

Эти письма в своей совокупности помогают проследить перипетии многолетнего драматического диалога полярных мироотношений. И хотя голос Герцена в нем продолжает звучать отрывочно (многие письма его утрачены и уничтожены), мы углубляемся в существо этого диалога изнутри сознания его второго участника, личности, также, безусловно, незаурядной по силе страстей, по напряженности чувств. Однако характер и направленность ее чувств разительно контрастируют с герценовскими, с его способностью "быть светлым и освещать" (XXIX, 3), с его широкой и цельной активной натурой; он всегда открыт миру, живет его общечеловеческими стремлениями и болями. Она же сосредоточена на себе, "вся обращена на личное", как определяет Герцен (XXVII, 248; ср. XXX, 94). "А только общие интересы могут человечески наполнить грудь", – подытоживает он свою жизненную позицию. – И только "общие интересы, взошедшие в плоть и кровь", способны "гуманизировать отчаяние" в момент обрушившихся на человека личных горестей (XXVII, 127; XXVIII, 62). Иначе это отчаяние обращается против близких, набрасывает черную тень на жизнь всего дома.

В них содержится богатый материал как для обвинений, так и для понимания, а, отчасти, и для оправдания их автора, причинившего – вольно или невольно – много горя и Герцену, и Огареву, и детям Герцена. Перед нами совокупность документальных свидетельств, впрямую раскрывающих резкие, "патологические" противоречия личности, характера и поведения Натальи Алексеевны. Усвоенные ею передовые взгляды¹, "мысль о серьезном освобождении женщины", ее "праве на жизнь и труд"² – уживаются с барскими капризами, привычками безделья, "необузданностью" (XXIX, 115), "помещичьими взрывами" и предрассудками³...

Герцен и Огарев подчас склонялись к мысли, что перед ними "психиатрический случай" (XXVIII, 93)⁴. Однако они неизменно возвращались к социально-идеологическим истокам этой "патологии".

В осмыслении душевной жизни Натальи Алексеевны проявляется очень выпукло своеобразие концепции человека, свойственной Герцену-художнику. Доминанта натуры, двигатель поступков и чувств для него всегда в особенностях мировоззрения, "понятия о жизни", в свою очередь, определяемого историческими обстоятельствами.

Теперь, более чем на столетней дистанции, расширяющей поле обзора, еще четче проступают конкретно-исторические и типологические очертания этого духовного феномена.